

A detailed painting of Napoleon Bonaparte from behind, standing in a grand, ornate hall. He is wearing a dark blue military uniform with gold epaulettes and a sash. He is looking at a large map on the wall. To the left, a figure in a blue coat and red cape stands near the map. To the right, a figure in a grey coat stands near a statue. In the foreground, two women in red dresses and white lace collars stand with their backs to the viewer. The hall has high ceilings, large columns, and arched doorways.

Фредерик Массон

**Наполеон и его
семья. Том I.
1769-1802**

Наполеон и его семья

Фредерик Массон

**Наполеон и его семья.
Том I. 1769-1802**

«Автор»

2026

Массон Ф.

Наполеон и его семья. Том I. 1769-1802 / Ф. Массон — «Автор», 2026 — (Наполеон и его семья)

Фредерик Массон в первом томе своей монументальной эпопеи «Наполеон и его семья» (1896) закладывает фундамент для беспрецедентного по масштабу исследования частной жизни Бонапартов. Отказавшись от традиционной военно-политической истории, он сосредотачивается на «интимной» стороне: на клановых узах, воспитании и нравах, определивших характеры всех членов семьи. Том охватывает период с корсиканских истоков до 1802 года, показывая формирование будущего императора в кругу матери Летиции, братьев Жозефа, Люсьена, Луи и сестер. Массон, используя уникальные архивные документы, раскрывает мелкие ссоры, амбиции и противоречия, скрывающиеся за фасадом возвышающейся династии. Это история о том, как любовь становилась орудием политики, а верность — предметом торга, что и составляет непреходящую ценность его труда.

© Массон Ф., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Правообладатель	5
Предисловие к девятому изданию	7
Введение	9
I. — Начало[1].	12
II. — Изгнанники	37
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Наполеон и его семья. Том I. 1769-1802

Правообладатель

Правообладатель: Антонов В. А. Основание: Оригинальный труд Фредерика Массона «Napoléon et sa famille» (1897–1929) находится в общественном достоянии (Public Domain), поскольку автор скончался в 1923 году, и срок охраны авторских прав истёк (более 70 лет после смерти). Произведение доступно в оцифрованном виде на archive.org, что подтверждает его открытый статус. Данный перевод на русский язык выполнен мной и является новым производным произведением. В соответствии со статьёй 1260 ГК РФ, авторские права на перевод принадлежат переводчику — мне как создателю этого перевода. Фредерик Массон (1847–1923) — имя, которое для всякого серьезного исследователя истории Первой империи стоит в одном ряду с именами Альбера Вандалю, Ипполита Тэна и Артюра Леви. Однако, в отличие от многих своих коллег, сосредоточенных на батальных сценах или государственных реформах, Массон избрал своей стезей то, что он сам называл «интимной историей». Он стал непревзойденным летописцем не столько императора на троне, сколько человека в кругу семьи, двора и частной жизни. А

Массон происходил из семьи, тесно связанной с бонапартистским движением: его отец был другом принца Жозефа Бонапарта. Это с рождения дало будущему историку доступ к уникальным архивам, семейным преданиям и документам, которые были закрыты для посторонних. Он начал свой путь как литератор и журналист, но подлинным его призванием стала история. В 1903 году он был избран членом Французской академии, став признанным авторитетом в области наполеоновской эпохи. Его труд «Napoléon et sa famille» стал вершиной его научной деятельности и по сей день остается непревзойденным по охвату материала и глубине психологического анализа.

Массон был одержим страстью к точности. Он не допускал ни малейшего вымысла и строго документировал каждый свой шаг. В своих исследованиях он опирался на тысячи писем, мемуаров, финансовых отчетов и донесений полиции. Этот метод позволил ему развеять множество романтизированных легенд, показав семью Бонапартов без прикрас: с их мелочными ссорами, завистью, алчностью, но и с их несомненной любовью друг к другу. Массон не был ни апологетом, ни безжалостным критиком. Его цель — понять, и в этом он достиг совершенства.

Обзор всех тринадцати томов: История возвышения и падения клана

Монументальное исследование Массона, насчитывающее 13 томов (или 12 в зависимости от издания, объединяющего два последних), охватывает период с 1769 года — года рождения Наполеона — до 1821 года — года его смерти в изгнании. Каждый том — это детальная хроника, в которой личные судьбы переплетаются с большой политикой.

Томы I–III: От аристократического клана до правящей династии (1769–1807)

В этих томах закладывается фундамент всего исследования. Массон подробно описывает детство и юность Наполеона на Корсике, его отношения с матерью Летицией, чей суровый и практичный характер сыграл решающую роль в становлении всех детей. Мы видим, как бедная, но гордая корсиканская семья, благодаря взлету одного из своих сыновей, превращается в центр новой европейской политики. Массон анализирует роли братьев и сестер: Жозефа — вечно сомневающегося и недовольного, Люсьена — бунтаря, Луи — меланхоличного, Элизы, Каролины и Полины — сестер, чьи амбиции и красота стали инструментами династической политики. Центральное место занимает раздача корон после коронации Наполеона в 1804 году: братья и сестры становятся королями, принцами и принцессами, и это, как показывает Массон, становится источником бесконечных конфликтов.

Томы IV–VI: Вершина могущества и трещины в фасаде (1807–1811)

К 1807 году, после Тильзитского мира, империя Наполеона достигает зенита. Массон показывает, как блеск двора скрывает растущие внутренние противоречия. Жозеф, ставший королем Испании, не справляется с управлением. Луи, король Голландии, открыто саботирует приказы брата, ставя интересы своего королевства выше интересов Франции, что приводит к его отречению и бегству. Отношения с Полиной, вышедшей замуж за принца Боргезе, становятся скандальными. Массон скрупулезно разбирает финансовые аппетиты семьи, их расточительность, которая вызывает тайное недовольство Наполеона. В этих томах ключевой становится тема развода с Жозефиной и поиска новой невесты царских кровей — событие, в котором семья принимает активнейшее участие, интригуя друг против друга.

Томы VII–IX: Начало катастрофы (1811–1814)

Рождение наследника, Римского короля, казалось бы, укрепляет династию. Однако Массон показывает, что именно в этот период недовольство братьев и сестер достигает апогея. Они видят, что все их благополучие зависит от одного человека, и втайне готовят пути к отступлению. Том за томом Массон описывает разлад между Наполеоном и его семьей во время катастрофической Русской кампании 1812 года и последующей войны 1813–1814 годов. В то время как император сражается за выживание империи, его братья и сестры думают лишь о сохранении своих тронов и состояний. Массон безжалостно документирует их измены, трусость и эгоизм во время первого отречения Наполеона в 1814 году. Это время, когда «семья» как единое целое перестает существовать.

Томы X–XI: Сто дней и крах всех надежд (1814–1815)

Эти тома — драматическая кульминация. Массон подробно описывает реакцию семьи на известие о высадке Наполеона в заливе Жуан и его триумфальном возвращении в Париж во время «Ста дней». Он показывает, как братья и сестры, только что присягнувшие Бурбонам, снова бросаются к ногам императора, надеясь на восстановление своего положения. Массон анализирует окончательное поражение при Ватерлоо и последовавшее за ним второе отречение. Последние сцены изображают Наполеона в Мальмезоне, покинутого почти всеми, кто был ему обязан своим возвышением. Этот период Массон описывает с беспощадной ясностью, показывая полный моральный крах династии, построенной на родственных чувствах.

Томы XII–XIII: Изгнание и наследие (1816–1821)

Заключительные тома посвящены последним годам жизни свергнутого императора на острове Святой Елены. Массон исследует, как ведут себя члены семьи, разбросанные по всей Европе: от Жозефа, уехавшего в Америку, до Летиции, доживающей свои дни в Риме. Кто-то из них погружается в роскошь, кто-то строит новые политические планы. Немногие, как мать Наполеона, сохраняют верность памяти сына. Центральное место занимает последняя воля и завещание Наполеона, его мысли о семье, полные горечи и разочарования. Массон показывает, что даже на смертном одре Наполеон пытался управлять судьбами своих близких, прощая их слабости, но и вынося им окончательный приговор. Смерть императора в мае 1821 года подводит черту под великой и трагической сагой о семье, которая не смогла стать фундаментом для империи.

Значение труда Массона

«Наполеон и его семья» — это не просто биография императора. Это исследование природы власти и тех деформаций, которые она производит в человеческих отношениях. Через судьбу клана Бонапартов Массон показал, как политические амбиции могут как возвысить, так и уничтожить самые прочные семейные узы. Это история о том, как любовь превращается в средство манипуляции, а верность — в предмет торга. И именно в этой бескомпромиссной правде заключается непреходящая ценность труда Фредерика Массона.

Предисловие к девятому изданию

Переиздавая этот том, я могу еще раз воспользоваться новыми сведениями. Документы, которые счастливый случай передал в мои руки, исправили, дополнили — почему бы не сказать этого — открыли мне политическую роль Жозефа и Люсьена Бонапартов в VI и VII годах Республики. Это, возможно, еще лишь часть истины, но сколь поразительная! Речь идет об установлении, осуществлении, падении и восстановлении господства клана на Корсике. Речь идет о том воздействии, которое эти корсиканские события, остававшиеся до сих пор неизвестными и о которых, кажется, не сообщил ни один островной историк, оказали на общую политику — и не только на государственный переворот 30 прериала, но и на события брюмера.

Когда первые из этих документов попали в мои руки, факты, о которых они повествовали, показались мне до такой степени странными, что я был готов усомниться в них; но когда к отчету Центральной администрации Лиамона я смог присоединить некоторые письма генерала Лобуа, командовавшего дивизией на Корсике в VI году, бумаги полковника Фламана, коменданта города и цитадели Аяччо в VI и VII годах, книгу исходящих писем второй департаментской администрации в VII году и, наконец, переписку Бонапартов с комиссаром Директории Костой с VI по XIV год, мне было позволено полагать, что я держу в руках если не всю истину, то по крайней мере достаточно истины, чтобы быть обязанным поделиться ею с публикой.

Такая книга, как эта, ставящая своей целью откровенно и без утайки изложить деяния людей, чье прошлое было темным, а само существование поначалу окутано тайной, не может претендовать на безупречную точность всех фактов с первого же раза. Уже немало то, что она указывает их последовательность и справедливо ставит некоторое количество вопросительных знаков. На обрывках документов, которые я собрал, я отметил в главе V беспокойство Жозефа по поводу преследований, направленных против друзей его семьи; я заподозрил некую растерянность в пылком красноречии Люсьена; но причина или предлог ускользали, и, поскольку документы отсутствовали в государственных архивах, связь фактов могла быть восстановлена лишь благодаря удивительным удачам. Они встретились, и, пришедшие из четырех различных, плохо согласующихся между собой источников, подлинные документы позволили мне утвердиться в моем убеждении.

Разумеется, Наполеон не появляется здесь лично. В VI и VII годах он находится в Египте, и можно полагать, что начиная с III года корсиканская сцена оставляла его довольно равнодушным. Он предполагал играть свою роль в другом месте — и он сыграл ее там. Но можно ли здесь отделить его от его братьев и можно ли отделить тех от Корсики? По мере того как глубже проникаешь в истоки Консульства, обнаруживаешь, что Жозеф и Люсьен приняли в подготовке событий значительное участие. Уже теперь все согласны признать, что без Люсьена дни брюмера были бы невозможны. Быть может, мы придем к тому, чтобы лучше различить участие, принятое в этом Жозефом; но, ограничиваясь тем, что установлено, признавая просто то, что принадлежит Люсьену, не очевидно ли, что если Люсьен осуществил брюмер, если брюмер потерпел бы неудачу без Люсьена, то брюмер не мог бы даже быть задуман, если бы девятью месяцами ранее Люсьен не был бы свергнут со своего пьедестала, а этим пьедесталом была Корсика?

Восставшая, можно сказать, против господства, которое благодаря победам Наполеона Бонапарты установили там в свою пользу и в пользу своего клана, та часть Корсики, которую Бонапарты оставили за собой, яростно отвергла их; их друзья, находившиеся там в меньшинстве, были обвинены и заключены в тюрьму; Люсьен рисковал быть обесчещенным, разоблаченным, исключенным из Советов, лишенным своего мандата. Он был спасен государствен-

ным переворотом 30 прериаля; одновременно он спас своих корсиканских друзей и укрепил свой пьедестал. Так он оказался готовым выступить в брюмере.

Следует ли из этого полагать, что на смену Директории он повлиял столь же сильно, как утверждал в своих мемуарах, — придавая, разумеется, своему поведению иные побуждения? Следует ли полагать, что это дело Лиамона, ничтожное для Директоров, но важнейшее для Люсьена, стало действенной причиной падения Мерлена и Ревельера? Почему бы и нет? Почему бы не поверить, что Люсьен искал, собирал, объединял интересы, ущемленные, как и его собственные, Директорами, и что он сделался вместе с Жозефом, остававшимся за кулисами, вдохновителем той революции, из которой он первым должен был извлечь выгоду? В этом едва ли можно сомневаться, и тем самым история проясняется, и часть истины, остававшаяся неизвестной, выступает наружу. Эта книга ценна лишь той искренностью, которую я в нее вкладываю: поэтому я счел нужным уже теперь опубликовать рассказ, составляющий приложение к настоящему тому. Позднее, когда, завершив книгу, я попытаюсь дать окончательное издание, я, без сомнения, включу эти материалы в главы IV и V, но для достижения такой цели и для написания четырех последних томов нужно еще много времени. Имею ли я право рассчитывать на него? За исключением ошибок, которые я исправляю, и новых указаний, которые я вставляю, я намерен оставить этим томам их первоначальный облик до того момента, когда смогу переработать их единым духом, чтобы это исследование воспользовалось всеми средствами, которые я сумею добыть; на этот раз, однако, не прибавленной заметкой или изменением нескольких строк я мог бы удовлетворить свою совесть историка, и, рискуя опровергнуть в приложении то, что я написал в тексте, я отдаю публике то, что я нашел.

Ф. М.

Май 1904.

Введение

Когда три года назад я опубликовал первое из этих исследований о Наполеоне, целое, которое я намеревался составить, представлялось мне с той ложной строгостью, что обыкновенно проистекает из априорных суждений. Желая дать отчет об ощущениях, чувствах и суждениях Наполеона касательно женщины, мне казалось совершенно естественным и довольно легким, указав, как любовь воздействовала на него нравственно и физически, исследовать, каким человеком он показал себя в отношениях с женщинами своей семьи и каким образом он проявлял свою привязанность к существам, связанным с ним кровными узами. Позднее, в третьем исследовании, я попытался бы определить, какие общие идеи он получил, привнес и оставил о женщине как существе социальном — в учреждениях, законах и нравах; какое место он отвел ей в своей иерархии и какую доктрину надлежало извлечь из его слов и поступков.

Итак, в настоящей книге я полагал, что мне предстоит рассмотреть лишь отношения Наполеона с его матерью, сестрами, невестками, приемными дочерьми и невестками; поведение, которого он держался по отношению к ним; чувства, которые он проявлял; поступки, которыми он их отмечал, — и из этого исследования должно было возникнуть понятие о сфере чувственного, дополняющее понятие о сфере ощущений.

Но ложность этого замысла стала мне ясна, как только я попытался перейти к исполнению: по мере того как я приводил в порядок свои заметки и искал в них элементы убеждения, по мере того как я старался заставить этих людей жить и действовать, я обнаруживал, с одной стороны, совершенное неведение, в котором мы оставались относительно их побуждений и их действий; отсюда — необходимость дать о них более подробный отчет; с другой стороны — невозможность отделить от драмы тех, кто был в ней главными действующими лицами, кто давал в ней самые живые сцены, кто чаще всего занимал сцену рядом с главным героем, чьи поступки оказывали наибольшее влияние на его решения и являлись действенной причиной женских волнений. Под страхом дать о характерах неполное и ложное представление, возводя на документальном ничто рискованные теории, развитие которых невозможно было бы проследить, приходилось выводить на сцену всех персонажей семьи — как двух женщин, на которых Наполеон был женат, так и его братьев и его приемного сына.

Итак, пришлось перестраивать все здание заново, и прежде всего обеспечить для каждого из этих существ более или менее точную биографию или по крайней мере маршрут, устанавливая достоверные даты по подлинным документам; затем, чтобы придать некоторую жизнь этим скелетам, пришлось собрать как можно больше тех мелких фактов, до сих пор пренебрегаемых или неизвестных истории, которые, кажется, были отмечены лишь случайно и которые получают свой единственный интерес от группировки, в которую их можно соединить, от связи, устанавливающейся между ними, и от продолжения, которое они получают в этих биографиях; следовало установить точный синхронизм, который пролил новый свет на людей и на события и который позволил, быть может, в некоторых случаях обнаружить истины, намеренно затемненные.

Работа эта была долгой: она заняла несколько лет; чтобы дать о ней хотя бы самый краткий отчет, мне пришлось придать этой книге неожиданный объем и посвятить по меньшей мере пять томов исследованию, которое я первоначально предполагал завершить в одном.

Первый том, выходящий ныне, охватывает период от истоков, с 1769 года, до 1802 года; второй, начинаясь с 1802 года, расскажет о событиях до 1805 года, и я полагаю, что, быть может, достаточно будет еще трех, чтобы дойти до 1821 года.

Это много страниц, и, возможно, их будет еще больше. Однако пусть не ожидают встретить здесь что-либо из общей истории, что-либо даже из исторических фактов; лишь беглыми

намекami, чтобы обозначить время, я напоминал внешние и известные факты жизни Наполеона: ничего о его кампаниях и сражениях, ничего о его гражданских совещаниях и законах, ничего даже о его частной жизни, как только она выходит за рамки, которые я себе наметил: только семья, в ее сплочении вокруг него, с чувствами, которые она ему внушает, с поведением, которого он держится по отношению к ней, с решениями, к которым она его принуждает; братья и сестры, рассматриваемые не в их собственном существовании, но в том соотношении, которое их жизнь приобретает с его жизнью; дух этих существ, изучаемый не столько в их официальных, публичных, военных или гражданских деяниях, сколько в интимных проявлениях, в чертах характера, терпеливо собранных, и всегда, и единственно в тех, что касаются Наполеона, в тех, что в какой-то момент могут помочь понять побуждения его поведения по отношению к ним, дать доступ к его нравственному миру и, через предшествующие обстоятельства, как говорят в юриспруденции, осветить приговор, который должно вынести. Ум, храбрость, красноречие, ловкость того или иного меня не касаются: хорошо или дурно он поступал с иных точек зрения — мне мало важно; то, что у него могут быть оправдания и что он находит апологетов, — не мое дело. Я излагаю факты, которые рассматриваю лишь в том отношении, какое они имеют к Наполеону. Если случается, что для представления некоторых персонажей я вынужден привлекать их предшествующую карьеру, я делаю это кратко и сухо, хотя и стараюсь предоставить — и часто впервые — достоверные даты и подлинные события; но, повторяю, у меня нет ни намерения, ни притязания рассказывать здесь в подробностях жизнь каждого из восемнадцати мужчин и женщин, которые составили, лишь в первой степени родства, наполеоновскую Семью: нет среди них, безусловно, ни одного, кто не заслуживал бы быть изученным точно, научно и полно и кто не должен был бы стать предметом серьезно документированной монографии; но это в данный момент никоим образом не является моей целью; чтобы только помыслить о ее достижении, мало было бы нескольких человеческих жизней, ибо все предстоит сделать, и ничто из опубликованного до сих пор не может ни в какой степени внушать доверие.

Следовательно, почва, на которую я отваживаюсь, опасна и малонадежна. Сколь бы многочисленны ни были книги и бумаги, которые я перебрал; сколь бы тщательно я ни старался пользоваться лишь документами, подлинность которых доказало мне внимательное изучение; с каким бы любопытством я ни всматривался в зрелище, которое являли эти персонажи, и ни искал нити, заставлявшие их двигаться, я не уверен, что встретил и собрал элементы достоверности, которые одни только позволяют полное утверждение и непосредственно несут убеждение читателю. Я сознаю, что искал истину; я верю, что нашел ее во многих случаях; но есть и другие, где видимости могли обмануть меня, бросить на ложные следы, заставить принять гипотезы за реальность. Если у меня есть оправдание, то это новизна предмета, к которому, по крайней мере в новой истории, никто, насколько мне известно, не пытался подступиться и где на каждом шагу все сильнее дают себя чувствовать тщетность поисков и ничтожность документов.

В семейной близости не пишут всего, что говорят; не говорят всего, что думают. Мысль, слово ускользают; от написанного что остается по прошествии столетия? Без сомнения, существуют частные архивы, где должны храниться свидетельства исключительно драгоценные; но одно лишь испрашивание доступа к ним обязывает если не ко лжи, то по меньшей мере к умолчаниям и, безусловно, к предвзятым суждениям; здесь я должен был, по многим причинам, сохранить прежде всего независимость нетронутой и полной. Не желая идти ни на какие сделки с истиной, намереваясь высказать целиком ту, которую я полагал найти, я не мог принимать услуг, которые пришлось бы оплачивать угодливостью.

Итак, лишь то, что проскользнуло в заинтересованных публикациях, что затерялось в частных собраниях, что сохранилось в архивах гражданского состояния общин и в реестрах нотариусов, что по великой случайности встречается в государственных архивах, — лишь это

могло послужить для формирования моего убеждения. Это составляет скудную добычу; но когда сцена освещается обрывками сведений, оставленных некоторыми современниками, находившимися в хорошем положении, чтобы видеть и слышать, то или иное слово, та или иная фраза приобретают особое звучание, позволяющее судить о характере и восстановить ситуацию. Если этот метод является единственным, который в данном случае мог быть применен, я не отрицаю его опасностей, не преувеличиваю его ценности, не скрываю его неудобств: я вовсе не претендую на то, что создал здесь окончательную книгу, — лишь на то, что представил некоторые сопоставления фактов и идей, которые впоследствии смогут дать лучше вооруженным историкам повод для полезных изысканий.

Ф. М.

Кло-де-Фе, ноябрь 1896.

I. — Начало[1].

15 АВГУСТА 1769 — ИЮНЬ 1793

Раса. — Отец. — Мать. — Жозеф. — Бриенн. — Смерть Шарля Бонапарта. — Возвращение на Корсику. — Младшие. — Полина. — Луи. — Характер Жозефа. — Революция в Аяччо. — Планы на будущее. — Наполеон и Луи в Осоне и Валансе. — Наследство архидиакона. — Апрельский бунт. — Поездка в Париж. — Марианна. — Размышления. — Возвращение в Аяччо. — Люсьен. — Люсьен и Марианна. — Скандал Люсьена. — Бегство. — Отъезд во Францию.

О его предках с отцовской и материнской стороны известны имена, должности, которые они занимали, — и ничего более. И те и другие пришли на Корсику из Верхней Италии, где Бонапарты — во Флоренции и особенно в Сардзане и Сан-Миниато — играли роли, приобретая долгой практикой ту парламентскую ловкость, тот политический опыт, ту дипломатическую изобретательность, которые встречаются тогда лишь в управлении этих малых республиканских городов. Они прошли там через все военные и гражданские должности, чередуя занятия по обстоятельствам, и если бы сцена, на которой они выступали, не была столь узка, качества, проявленные ими, были бы достаточно примечательны, чтобы принести им славу. Рамолино имеют сходное происхождение, но они не остались в Ломбардии, откуда были родом, или в Тоскане, куда переселились. Они пустили ветви в Неаполе и Генуе. Из Генуи они прибыли в конце XV века в Аяччо, где Бонапарты появились лишь в середине XVI века. С тех пор обе семьи существовали бок о бок, занимая одновременно муниципальные должности, связанные друг с другом частыми браками, но отличавшиеся, по-видимому, тем, что Бонапарты становились более корсиканцами, глубже входили во внутренние дела страны, искали лишь корсиканских союзов, тогда как Рамолино охотнее обращались вовне, и у них встречаются браки с иностранцами или иностранками: греками, швейцарцами, даже французами. Они не пренебрегали должностями, которые им уступали генуэзцы, и их корсиканский патриотизм не был непримиримым.

Большинство семей, дававших жен Бонапартам или Рамолино: Паравичини, Тузоли, Одоне, Растелли, Боцци, Бениэлли, Пьетра-Санта, — в разной степени того же корня, что и они сами: итальянцы по происхождению, переселившиеся на Корсику около XV или XVI века, почти все проживавшие в Аяччо или его окрестностях. Лишь греки из Панории составляют исключение; но их считают согражданами, хотя в физическом и особенно в нравственном отношении они привносят элементы, без сомнения, весьма отличные.

Все подчинены общей дисциплине, которая является самой сущностью, смыслом существования и формулой расы и которой покоряются и к которой привыкают все чужеземцы, к ней приобщающиеся. Это общество, для которого идея семьи выше всякого иного общественного или государственного представления, которое проникнуто ею до такой степени, что находит в ней все свои законы, делает ее основой всех своих предприятий и оправданием всех своих авантур. Это общество, которое от семьи поднялось к племени, клану, роду, а оттуда — лишь временами и почти в один-единственный момент — к нации; и то настолько мимолетно, что нельзя судить, смогло ли бы оно удержаться на этом уровне вне общей опасности и состояния войны с иноземцем. Это общество, у которого идея семьи и ее производное — идея племени — укоренены веками и веками настолько, что в скоплении обществ, образовавших французскую нацию, оно одно сохранит их, несмотря на сто с лишним лет аннексии, несмотря на общий уровень законов и постепенную унификацию нравов. Корсиканский народ по сути таков же сегодня, как во времена Паоли: Франция скользнула по нему, как небесная вода по его скалам. Право жизни и смерти отца над сыновьями; абсолютная власть главы семьи; полная солидарность членов семьи; всякая идея справедливости, всякое понятие общего блага подчи-

нены интересу или возвышению семьи; — с семьями родственными или союзными — единство взглядов, общность интересов, ссоры, принимаемые с той же горячностью, как если бы они были личными, милости, домогаемые с той же настойчивостью, тесная близость до того дня, когда по поводу, часто пустячному, вспыхивает ссора, влекущая долгую череду личных столкновений; — ниже — редкое население пастухов и рыбаков, которые в большем или меньшем числе примыкают к той или иной семье в зависимости от ее богатства, влияния, покровительства, которое она им оказывает, и услуг, которые она им предоставляет, остаются ей верны в мире и на войне, в правом и неправом деле, но при условии, что договор соблюдается с обеих сторон.

Политическое влияние — если понимать под этим преобладание одной семьи и ее союзников в совете общины — существенно важно по самому принципу устройства собственности: общие пастбища, куда допускают пасти установленное число голов скота, обширные земли, принадлежащие общине, которые совет Старейшин сдает в аренду на более или менее долгий срок не с торгов, а по своему усмотрению. Кто владеет советом Старейшин, тот владеет общественным достоянием и пользуется им. Клиентела идет, стало быть, к тем, кто ее кормит. Ссоры за власть являются здесь, следовательно, ссорами за жизнь. Между собой договариваются так, чтобы каждый из союзников по очереди извлекал выгоду и давал извлекать ее своим. В этом вся суть политики и главное основание комбинаций. Прибавьте к этому вкус и аппетит к власти ради власти и волю быть хозяином правосудия, чтобы распределять его неравно между своими друзьями и своими врагами, — вот более чем достаточно, чтобы пробудить все честолюбия, оправдать все происки, бесполезно растрачивать большие силы, изнурять без пользы людей на протяжении шести или семи поколений.

В этих семьях, кроме, быть может, некоторых Рамолино, мало вкуса к авантюрам и желания искать счастья за морем. В списках Королевско-Корсиканского полка и Корсиканских егерей нет этих имен. Живут за счет общины, политики, земли, без промышленности и без торговли. Денег на Корсике нет. Подати, арендную плату, оброк платят натурой: есть каштаны с гор, козы из маки, быки с общинных пастбищ, пшеница со своего поля, масло со своих олив, вино со своего виноградника; рыба, которую обменивают или которая также является оброком; если участвовали в покупке или постройке лодки; сукно, изготовленное в горах из козьей шерсти. Всего этого в изобилии, как у всех первобытных народов, которые, изолированные морем, лишенные путей сообщения, неспособные сами обрабатывать свои продукты, собирая притом лишь те из них, чья ценность на континенте не окупил бы перевозки, изобилуют тем, что необходимо для пропитания и одежды, но бесполезно для их благосостояния, которое им приходилось бы получать от других народов. Итак, никакой роскоши, никакого даже достатка, ничего из того, что покупается, но действительное изобилие, которое оправдывает и объясняет обычаи гостеприимства. Если кого прельщают деньги, их приходится искать вовне, ибо на острове Генуя нанимает почти только генуэзцев, а Франция — только французов, и ни те, ни другие, не тратя там своего жалованья, не привозят туда денег.

Несмотря ни на что, силой экономии эти семьи сумели, и те и другие, собрать дома и загородные имения, которые, не будучи разделяемы в течение ста лет, придают им вид достатка. Так, в доме Бонапартов насчитывается около двенадцати тысяч ливров ренты, и, когда все наследства будут получены, дети смогут получить около трехсот тысяч ливров; но это произойдет лишь в далеком будущем, когда все наследства, увеличенные несколькими неожиданными завещаниями, будут собраны.

Вначале до такого состояния далеко: госпожа Рамолино, которая слывет богатой, принесла в приданое семь тысяч ливров капитала, представленных землями, частью дома и виноградником. У Шарля Бонапарта есть лишь то, что соблаговолит дать ему дядя, которому его отец оставил управление и пользование всем семейным состоянием.

Шарль, отец Наполеона, совсем молодой — ему двадцать три года в 1769 году — по натуре честолобив и недоволен. Быть может, уже тогда он страдает болезнью желудка, от которой умрет, не дожив до тридцати девяти лет, и беспокойство его характера, неустойчивость его жизни являются ее следствием. Ему не по нраву ни одно из мест, где он оказывается; он не удовлетворен ни одной из должностей, которые получает. Он беспрестанно мечтает о другом: о предприятиях, которые его обогатят, о поручениях, которые принесут ему славу или почет, о местах, которые обеспечат его сыновьям верное будущее и взаимную поддержку; он хочет всего сразу, он торопится, он суетлив, он вносит в свои желания лихорадочность, которая его изнуряет. Добившись милостей, он заранее устает от них и пренебрегает тем, что имеет, ради того, что мог бы иметь.

Он получил ученую степень в Пизе, чтобы стать магистратом, и сумел после завоевания добиться назначения королевским советником, ассессором королевской юрисдикции провинций и города Аяччо, но в то же время, как дворянин — ибо он именует себя оруженосцем, — он входит в состав Корсиканских Штатов и интригует, чтобы попасть в комиссию Двенадцати, которая обладает своего рода властью в отсутствие Штатов; особенно же — чтобы быть отправленным депутатом ко Двору. Там он ходатайствует и добивается устройства и руководства тузовыми питомниками; он предлагает осушить болота Сален и добивается предоставления ему этого предприятия; он изобретает и предлагает двадцать других дел, которые все должны вестись им, к его выгоде и за счет государства.

Стилем, изобилующим итальянизмами, но который тем не менее показывает, что он — вещь очень редкая в его стране — говорит и пишет по-французски так, что его можно понять, — а в этом главная причина его успехов у губернаторов и интендантов, не знающих итальянского, — он пишет письмо за письмом, прошение за прошением, смиренный, когда ходатайствует, почти надменный, когда получает от благоволения министров или слабости канцелярий видимость права. Тогда он переворачивает и так и этак полученную концессию, уклоняется от обременительных условий с удивительной ловкостью и отлично умеет ссылаться на обязательства, которые государство, казалось бы, приняло взамен. Он вносит во все дерзость, которая ему удастся, самоуверенность, которую ничто не сбивает, не отпускает человека, едва добившись возможности его увидеть; возводит в покровители всякого, кто хоть раз с ним заговорил; упорен до смерти на месте в приемной, куда проник; многословно искренен в изложении своих притязаний и оттого грозен для министров, старших письмоводителей, служащих, даже приставов, которые при звоне колокола, возвещающего открытие или закрытие канцелярий, всегда видят перед собой — с улыбкой на устах, прошением в руке, с готовым красноречием — этого вечного просителя, которому, устав от борьбы, в конце концов ставят подпись, которой он требует.

Но государство — не все: в других делах Шарль столь же ретив в создании себе прав, столь же ловок в их отстаивании, столь же упрям в извлечении из них выгоды: он затевает, поддерживает и ведет бесчисленные тяжбы — из тех, что передаются третьему поколению потомков и которые, если их выиграть, стоят целого состояния; он тешит себя надеждами на наследства столь дальние, что они кажутся воображаемыми, высчитывает степени родства, составляет генеалогические древа, посещает отысканных кузенов, которым доказывает родство, забытое веками. Ему мало собственных дел — он берет на себя чужие: пенсия для одного, должность для другого, милости, смягчения наказаний, вспомоществования. Он вечно в движении, вечно в тревоге и надежде; каждый день он строит какой-нибудь новый замысел, умножает хлопоты, письма, поездки; он без конца учитывает будущее и находит в нем верные средства, чтобы заткнуть дыры прошлого: что до настоящего, то в нем он не живет.

В Корсиканских Штатах, этих миниатюрных Штатах, существующих лишь для вида и представительства, он устраивает ради интересов, которых уже не разглядеть, всевозможные комбинации; он создает группировки, разжигает партии, вступает в союз то с тем, то с другим,

ведет борьбу за влияние, вносит предложения, предлагает голосования, занимается политикой. У него в крови, как у народа, из которого он вышел, эта политика, состоящая из уловок, хитростей, засад, украшенная бесконечными речами, которая показалась бы принадлежащей самому изворотливому парламентария, если бы в иные дни не дополнялась дерзостью, насилиями и ружейными выстрелами.

Совсем молодым он был патриотом, как всякий в его поколении, кто не служил в Королевско-Корсиканском полку и не вкусил Франции; он связал свою судьбу с Паоли, которому служил, по правде сказать, более на гражданских должностях, нежели на военных, хотя, как кажется, храбро показал себя в последних боях; но ремесло солдата ему не по вкусу. После завоевания, женатый, обремененный детьми, не имея средств — за неимением денег — привлечь к себе достаточно многочисленных клиентов, чтобы обеспечить себе на Корсике положение, равняющее его с великими вождями кланов, он обращается к тем, кто правит, дабы извлечь из них что можно. Ничто не доказывает, что он искренен, примыкая к Франции. Можно ли требовать от столь нового француза, чтобы он — был ли он — столь быстро убедился, что независимость его страны должна быть подчинена общим интересам? Он, скорее, смотрит на свои частные интересы. Прошло едва несколько месяцев после завоевания, а он с умом чрезвычайно острым, на редкость примечательным у человека, который никогда не жил и даже не бывал во Франции, для которого все во Франции — ее устройство, ее иерархия, ее государственный строй — ново, уже понял выгоды, которые может извлечь из аннексии; он осознал, что, дабы чем-либо пользоваться во Франции, надобно быть дворянином. Он дворянин, но доказательства надлежит представить, ибо дворянство на Корсике, не давая никаких преимуществ и никаких освобождений от податей, не побуждало заботиться о счете его степеней, о поиске или сохранении его следов. Теперь недостаточно предания, которое приносило уважение, нужно нечто положительное, что доставит привилегии. Шарль первым на Корсике собирает документы, удостоверяющие его дворянство; первым обращает взор к учреждениям, основанным во Франции для бедного дворянства; первым понимает, какие прекрасные места можно занимать, если, будучи дворянином, проникнуть в иерархию мантии, шпаги или церкви. И он первым угадывает, каким образом человек умный, который утвердится на Корсике как слуга и прожектор интенданта и главнокомандующего, сможет извлечь выгоду и из того и из другого, опираясь на них в канцеляриях, а их поддерживая при Дворе авторитетом Штатов — Штатов, которые имеют с грозными Штатами Бретани и Лангедока лишь общее название, но пользуются у невежд этим сходством и наслаждаются видимостью.

Шарль не только понял все это, что должно было бы быть закрыто для такого человека, как он, но умеет своими действиями применять это на практике. Для своих покровителей, которых он в свою очередь покровительствует — или делает вид, что покровительствует, — он с первого взгляда различает полезные шаги; он создает себе известность; он вкрадывается и проникает, всякий раз получая какую-нибудь мелкую личную выгоду: концессию, вознаграждение, пенсию, должность, обещание продвижения для своих сыновей, шурина или кузенов, беспрестанно прося и внося в ходатайства упорство, которое утомляет равнодушие и побеждает злую волю, столь же пылкий и более ловкий, чем старые придворные, и насколько более изобретательный, ибо все это для него ново и ему пришлось всему научиться в этом искусном использовании государства, которое является постоянным занятием большинства.

Но что же? Оттого, что он вырывает то, о чем просит, становится ли он счастливее? Все это усилие, весь этот пыл, потраченный на получение видимостей, которые беспрестанно его обманывают, мелких милостей, похожих на подачки, на то, чтобы продолжать биться в своего рода нищете и строить свою жизнь из одних уловок, — стоит ли это труда? Не чувствует ли он в себе некий инстинкт, толкающий его к великому? Не мог бы он, как другие и лучше других, вести переговоры, управлять провинциями, заседать на лилиях, если бы не был новым французом, если бы против него не было предубеждения, что он корсиканец, дикарь, аннек-

сированный? Чего ему недостает? Разве он не красивый мужчина, не дворянин, не умный, не образованный? И всегда — для его уязвленного тщеславия, для его страдающей гордости — это узкое существование, этот темный дом, этот маленький город, эта общая участь! Тогда он вырывается оттуда и снова пускается в погоню за какой-нибудь новой мечтой. Где его застать? Он в Генуе, в Пизе, во Флоренции, в Сан-Миниато, в Риме, в Бастии, в Корте, в Марселе, в Версале, вечно гонимый своими замыслами, вечно подстегиваемый нуждой, вечно подхлестываемый своими химерами. Он живет в дороге. В дороге он и умрет.

И все же он бывает в Аяччо; он остается там достаточно, чтобы почти каждый год его семья увеличивалась. Женившись в восемнадцать лет в 1764 году на четырнадцатилетнем ребенке, он имеет сына в 1765-м, дочь в 1767-м, сына в 1768-м, сына в 1769-м, дочь в 1771-м, дочь в 1773-м, сына в 1775-м, дочь в 1777-м, сына в 1778-м, дочь в 1780-м, дочь в 1782-м, сына в 1784-м — двенадцать детей за девятнадцать лет брака, и это не считая тех, что не доношены!

Мать, среди этих вечных беременностей, помимо забот по хозяйству в жизни самой стесненной и самой скромной, несет бремя ухода за инвалидом, дядей Люсьеном, который заменил Шарлю отца, держит в руках деньги и управляет семейными владениями, не вставая с постели, ибо с тридцати двух лет он болен подагрой и через все более частые промежутки оказывается полностью парализованным. У нее, стало быть, нет досуга быть матерью на современный лад, рабой единственного ребенка, восторгающейся своим материнством и принимающей за чудо то, что должно казаться лишь самой обыкновенной из обязанностей, правильным исполнением природного долга. Беременности ее не останавливают и не тревожат. Она рождает детей, кормит их, если есть время; если нет — отдает кормилице, какой-нибудь жене пастуха или рыбака, но не прерывает из-за этого забот, которые должна нести. В своем выводе ее заботы, ее нежность достаются больным, тем, кто в ней нуждается. Им, малышам, которые страдают, она отдает свое сердце. Так будет она всегда поступать с теми из своих, кто по своей вине или по вине судьбы попадет в беду. Она будет к ним снисходительнее и услужливее, считая их несчастье болезнью, лечить которую — ее обязанность и долг матери, какова бы ни была ее причина.

Здоровые, ее дети растут, и у нее нет досуга умиляться над ними, поглощенной починкой, содержанием, укладкой одежды и платьев, приведением в порядок припасов, надзором за служанкой — единственно материальной стороной жизни в самом узком ее объеме, ибо остальным она не занимается. Это дело мужчин, которые одни повелевают, говорят и действуют, которые одни заботятся о состоянии и имеют право им распоряжаться. Она согнута под ярмом и не чувствует его тяжести; так заведено, так было всегда, стало быть, так и должно быть.

В этой женщине, совсем молодой — ибо ей девятнадцать лет при рождении ее четвертого ребенка, Наполеона, — очень красивой, несмотря на повторяющиеся беременности, но красотой, которой скорее восхищаются, чем обольщаются ею, — полное отсутствие мечты и сентиментальности; никакого следа литературного влияния, никакого смятения, вызванного той ложной культурой, которая на постоянную неспособность женщины к настоящему учению накладывает лак педантизма. Она усвоила и применяет тот грозный закон молчания, которым впоследствии одна только и спасется: ее к нему приучили учреждения, законы, нравы страны, где жена является всецело, единственно, безусловно служанкой мужчины, где всякая инициатива, всякая критика, всякое размышление о внешних действиях хозяина ей запрещены, но где зато в делах хозяйства, детей, домашних подробностей она пользуется властью почти неограниченной. В этом затворничестве госпожа Бонапарт не расточает ума на мечтания и прожекты; она сосредоточивает волю на том, что практично и насущно; она обращает внимание на малейшие подробности; она бережлива, потому что так надо, потому что все деньги, не поступающие в кассу дяди Люсьена, уходят на поездки Шарля, на расходы и предприятия, которым ей не позволено ни противоречить, ни противодействовать; во всем, что относится к ее ведению, во всем, что ее касается, она экономит с упорством, которое могло бы сойти за скупость, если бы она не была готова разом пожертвовать своим сокровищем в тех случаях, когда чувствует, что

поставлено на карту будущее ее близких, когда видит в игре их честь, свободу, состояние и счастье. Тогда она отдает все, что имеет, не считая, не сожалея, бросая все на кон одной ставкой; но чтобы составить свой запас, разве не нужно было ей откладывать монету за монетой, отказывать себе во всякой прихоти, вести свое маленькое стадо твердой рукой и из удовольствий предлагать ему лишь те, что ничего не стоят?

Образования она лично не может дать детям никакого — даже научить их читать, — ибо не знает французского и даже правильно итальянского. Она получила не больше культуры, чем женщины ее положения в ее время и в ее стране: пишет плохо и не принадлежит к числу женщин, живущих книгами. Что до воспитания, она может внушить им лишь то, которое сама получила по традиции, которое состоит не из французской учтивости, тонких прелестей, порхающих манер и жаргона хорошего тона, но сводится к нескольким очень простым правилам, свойственным ее расе. Госпожа Бонапарт возвышает их благородными манерами, молчаливой и гордой нравственной выдержкой, которая внешне как бы выражена посадкой ее головы и почти иератической осанкой ее тела. Без сомнения, здесь все — в гораздо меньшей степени, чем поучение, — зависит от среды. Среда, в которой выросла госпожа Бонапарт, была такова, что у нее воспитание принесло все свои плоды. Иначе не может быть для ее детей, учитывая весьма различные среды, в которых они будут расти. В сущности, она не терпит, чтобы они дерзили ей самой или ее близким, пресекает у них лакомство и ложь ручными наказаниями, при которых их не щадит, и приучает к телесной опрятности, необычной, конечно, для их времени и их страны.

Однако следует ли здесь видеть факт воспитания или явление атакизма? Нужно ли верить, что мальчики и девочки были приучены к этому матерью, или это у них своего рода инстинкт? У всех у них, и у тех и у других, — страсть к воде, купаниям, большим омовениям; некоторые не могут видеть текущей или падающей воды без того, чтобы не броситься в нее окунуться или встать под душ... Такая страсть, общая всем членам одной семьи, противная всем обычаям, принятым в их эпоху и среде, не указывает ли скорее, чем на приобретенную привычку, на наследственное побуждение? Ни у кого из них нет стыдливости перед одеждой, той стыдливости, которая была навязана суровостью климата и еще более — религиозным лицемерием. Они не смущаются своей наготы; им не свойственны ни стыд, ни страх перед ней. От какого-нибудь предка-грека они, по-видимому, унаследовали вместе с некоторыми несомненными физическими чертами высшее чувство и культ Красоты, тот культ, который прежде всего должен обращаться к форме, прикрывает тело лишь тогда, когда того требует температура, и сохраняет человеческому существу в его наготе благопристойность, изящество, непринужденность, отстраняющие порочные воображения и в то же время не оставляющие места нелепым мыслям. Чтобы засвидетельствовать забытое происхождение, отвергнуть утраченные гробницы предков и похитить их тайну, не служит ли своего рода Сезамом это единственное и звучное имя, передаваемое через поколения, это предопределенное имя **НАПОЛЕОН** с его таинственными и пророческими слогами, которые — каждый в отдельности и все вместе — возвещают льва, берущего города?

Откуда бы он ни шел — от отца или от матери, от предка той или другого, — греческий атакизм прочертил в этих существах свой след рядом с атакизмом латинским, и в иные минуты спрашиваешь себя, который из двух сильнее.

Все они — и навсегда остаются — людьми порыва; воспитание, стало быть, очень мало их изменило, и то, чем они ему обязаны, — это уважение к матери, строгая семейная дисциплина, дух солидарности между ними и некоторые сходные формы внешней учтивости. Впрочем, и в этом скудном багаже следовало бы, быть может, поискать различные источники.

оспожа Бонапарт не была бы ни женщиной своей расы, ни своего времени, если бы не имела тех суеверий, которые во многих местах сходят за благочестие. Она была набожна к Мадонне, и можно даже полагать, что она верила в Бога. Она не преминула назвать каж-

дую из своих дочерей Марией (Мария-Анна, Мария-Паолетта, Мария-Нунциата) и тем самым посвятить их Деве, но она не удивилась, когда ее сыновья и даже дочери заключали чисто гражданские браки. Ее не покорило, что ее брат принес присягу Гражданскому устройству духовенства, снял с себя сан и предался занятиям, не имевшим ничего священнического. Без сомнения, на Корсике Гражданское устройство должно было меньше задевать совесть, чем на континенте, поскольку в основных чертах оно было установлено там лет за двадцать до того Паоли; но то, что госпожа Бонапарт не настаивала особенно, чтобы две ее дочери, вышедшие замуж у нее на глазах, получили от священника — присягнувшего или нет — брачное благословение, хорошо показывает, что у нее католическая религия была лишь внешней, что ее благочестие сводилось к нескольким обрядам, привычку к которым она передала детям.

Те же по природе — и навсегда остаются — язычниками. Формирование их ума предшествует христианству. Их мозг не подвергся тому ужасу, который подавляет личность, уничтожает в ней инициативу и набрасывает траурный креп на природу. Они отказываются быть созерцательными. Они смотрят на жизнь как на цель, а не как на средство. Они верят в потустороннее — безмятежно и смутно, так, как думали о нем античные поэты, — и рай, который они воображают, удивительно близок к Елисейским полям. Не то чтобы они не были отчетливо, искренне, твердо спиритуалистами. Они тем более спиритуалисты, чем менее христиане. Если некоторым из них случается в редкие минуты дойти до признания, что существуют атеисты, и до предположения, что они сами могли бы быть материалистами, тотчас же учение с его необходимыми следствиями заставляет их отступить, и в них чувствуется отвращение и страх. Зато они не привязаны ни к какой религии откровения; они принимают одну так, как приняли бы другую, не считают себя обладателями абсолютных истин и полагают религию, какова бы она ни была, лишь наилучшим средством управлять людьми. От детства у них, правда, сохраняется частое и повторяющееся употребление крестного знамения в минуты великого изумления, великой радости и великой скорби. Но употребление этого жеста, этого древнего заклания от злой судьбы, у них чисто машинальное и не предполагает никакой мысли.

Гораздо более, чем в Бога христиан, они верят в Рок, Судьбу, Фатум — слепое и глухое божество, преследовавшее воображение древних; и сломать пришлось бы в них главную пружину, если бы вместо этой веры в себя их умам была навязана католическая дисциплина жертвы, самоотречения и отречения: ибо они верят в Судьбу не так, как верующие, воображающие себя вдохновленными своим Богом и одержимыми Духом, но как существа, которые не удивляются фактам, всегда готовы извлечь из них выгоду, постоянно оказываются выше своей участи и сохраняют безмятежную уверенность в своем непрерывном восхождении.

Бонапарт, если бы она была тем, что называют христианской матерью, несомненно, всеми средствами — а Церковь находила грозные — боролась бы с этим образом мыслей у своих детей и, быть может, победила бы его; но она этого не замечала или, быть может, сама его разделяла? Это ничуть не было бы удивительно, ибо и она, казалось, не удивлялась своей судьбе: в благополучии и невзгодах она сохраняла душу безмятежную и выказывала веру в себя, которая не позволяла ей ни удивляться, ни радоваться чему-либо.

Следует ли верить, что она была ветрена? Ей пришлось бы быть исключительно ветреной, чтобы найти досуг иметь любовников. Ее дети все, в равной степени, носят отпечаток — физический и нравственный — двойного атавизма, от которого они происходят; сами по себе, через своих потомков, они поразительно воспроизводят тип, который, без сомнения, после поколений скрещивания мог измениться в отношении красоты, но который сохраняется даже у наименее одаренных настолько, что его нельзя не признать. И то же относится к характеру, складу ума, телесным привычкам, темпераменту и болезням. Итак, все восемь выживших детей действительно рождены от Шарля Бонапарта. Много говорили, будто она была любовницей господина де Марбёфа; но разве не достаточно было того, что Шарль Бонапарт был перебежчиком, чтобы сторонники независимости искали постыдных причин его успехам? Он оказал

услуги господину де Марбёфу и, в свою очередь, получил от него драгоценную поддержку. Губернатор был крестным отцом одного из его детей; его портрет висел на почетном месте в гостиной дома Бонапартов; его публичные и частные деяния были воспеты Шарлем в прозе и стихах, на итальянском и латыни. Все это доказывает близость и доверие; но Шарль почти то же делал для интенданта, господина де Бушпорна, и почему из двух в любовники госпоже Бонапарт дают Марбёфа, которому тогда шестьдесят лет? Разве недостаточно для объяснения мелких милостей, полученных Шарлем, того, что он таков, каков есть, и зачем бы его жене было тут влиять? Такой, какова она есть, — гордая, строгая видом и лицом, красивая, конечно, но беспрестанно занятая хозяйством, вечно беременная и окруженная детьми, — она супруга, а не любовница. Можно ли представить ее кокетничающей, завязывающей беседу с придворным и находящей удовольствие в модном щебетании?

Ее жизнь протекает в кругу самом узком с точки зрения идей, хотя он кажется довольно обширным по числу лиц, в него допущенных. Но это старые бабушки, дяди, тетки, кузены, кузины, образующие тесную группу, где чужак оказался бы удивительно не на месте. На Корсике иметь множество родственников — счастье, и там поддерживают узы кузенства до бесконечных степеней. Весь этот мир посещает друг друга, ходит в гости, поддерживает отношения. Постоялых дворов нет — останавливаются у родных. Отсюда, из-за этой вынужденной открытости дома, из-за этой близости между земляками, жизнь на виду, делающая проступок женщины удивительно трудным для сокрытия; надзор непрерывный, который не преминул бы выразиться во враждебных действиях, ибо всякое посягательство на нравы есть оскорбление семье, об адюльтере не шутят, и попустительство мужа по отношению к важной особе повлекло бы за собой изгнание клана, если не один из тех примеров скорого правосудия, какие почти на каждой странице своей истории дает этот народ, оставшийся как бы спартанским по своим нравам, понятиям и учреждениям.

Общества в том смысле, в каком его понимают, тогда в Аяччо не существует, как не существует и удовольствий, которые оно доставляет, и искушений, которые те влекут за собой. Помимо служения мужу, когда он возвращается или проезжает; помимо рождения, кормления, ухода за детьми и того, что называют радостями материнства; помимо бесконечных бесед с родственницами и соседками, потоков изливающихся тогда речей, которые раскрываются или возбуждаются, выдавая то сокровенную тайну этих молчаливых душ, то их лживые воображения, то поэтические воспоминания, — ничего; но разве этого «ничего» не достаточно, чтобы наполнить жизнь?

Случается, однако, в иные дни — дни знаменитые и бедственные в летописях матери семейства — что хозяин, чтобы отпраздновать проезд через город интенданта или губернатора, снискать их милость или обеспечить себе их покровительство, задумывает дать им обед и, ради праздника, собрать важных людей. Тогда сколько забот, сколько трудов, сколько беготни, чтобы одолжить мебель, серебро и белье, чтобы показать, что они не бедняки и умеют жить! Сколько тревог на завтра, когда нужно платить, возвращать, благодарить! Сколько врагов находишь, чтобы на час дать пищу тщеславию хозяина! И как, чтобы заделать брешь, матери придется экономить и урезать на всем! Тогда с малышами она уйдет в горы, в какой-нибудь сумрачный дом, укрепленный, как крепость, жить на манер пастухов, пасущих в маки коз семьи.

Вот среда, в которой Наполеон провел свое раннее детство; вот кровь, из которой он вышел, уроки, которые он получил, и примеры, которые он нашел. Но было бы неверным отчетом о жизни, которую он вел, воображать ее без радостного и теплого света, омывающего существа и вещи, без бриза соленого воздуха, наполняющего ликующие легкие; без свободы родной земли, чей запах сорок лет спустя один обрадовал бы его ноздри, как вино отцовского виноградника одно, казалось ему, утолило бы его губы... И вокруг него — привязанность очень глубокая, очень подлинная, не низкая и не раболепная, хотя и соблюдающая расстояния, — привязанность клиентов семьи; эта обволакивающая привязанность, особенно к малышу, которого

вскормила одна из их жен; отношения, как у выборного вождя к добровольным солдатам, установленные в играх, исключительно воинственных, с детьми этих клиентов и дающие в будущем верные преданности; когда мать живет в Аяччо — побеги к кормилице, чтобы поесть фрикаделек или каштановой каши, которая оттого кажется гораздо вкуснее, чтобы поумничать перед мельником, чтобы оседлать пони с жесткой шерстью и взъерошенной гривой, на спинах которых он выучивается всей верховой езде, какую когда-либо будет знать.

Добрый и нежный прием у всех женщин семьи, из которых у некоторых нет своих детей, и они тем больше балуют маленьких Бонапартов: так прежде всего его тетка и крестная Гертруда Паравичини, сестра Шарля; затем две бабушки, две балующие старушки — Бонапарт и Феш, последняя вся горбатая и уродливая, похожая на добрую маленькую фею с ящиками, полными кульков со сладостями; и тетка Форниоли, и тетка Бениэлли, и тетка Феш, оставшаяся в девицах, чтобы лучше любить детей своей сводной сестры; они приносят как бы подкрепление нежности там, где госпожа Бонапарт, слишком занятая, может дать лишь материальную сторону забот, и в сердце ребенка оставляют след, кажется, более нежный, чем сама мать.

У него есть маленькая сестра, на два года его моложе, крещенная в один день с ним, в 1771 году, которую он бесконечно любит, которую делает своим обществом в самом раннем детстве, но она умирает, когда ему семь лет. Из-за нее, быть может, в его характере прибавилось бы больше женственности, смягчилась бы несколько его кажущаяся природная резкость. Отныне его единственный товарищ — старший брат Жозеф. Другие детские товарищества, кроме маленьких девочек, нигде не появляются в его жизни, где, однако, признательность или простое воспоминание занимают такое место, что он не обходит и не забывает в пору своего величия никого из существ, которых знал, любил или просто встречал в другие времена. Здесь пробел: когда на Святой Елене он перебирает минувшие дни, никакое имя не приходит на его неумолимую память; один Жозеф возвращается беспрестанно — совместные побеги, доверительные признания, которые он ему делает, удары, которые он ему наносит, хотя более сильный Жозеф ему их возвращает, и торжества Жозефа в школе, и превосходство его ума и остроумия. Жозеф имеет над ним двойную власть — возраста и старшинства. Он тот, кто делает хорошо все, за что берется, и кому стоит лишь захотеть, чтобы смочь. Это совершенно естественно. Младшие братья, отделенные от него шестью, восемью, девятью годами, — Люсьен, родившийся в 1775-м, Мария-Анна в 1777-м, Луи в 1778-м, — тогда не в счет и не могут быть в счете; по необходимости он держится отдельно с Жозефом, оставляя других в стороне; это огромный тогда промежуток, который их разделяет, и такой, что истинно братом он будет чувствовать себя лишь с Жозефом, тогда как по отношению к Луи у него будет почти отцовство.

Вот и вся семья в декабре 1778 года, в момент, когда Шарль Бонапарт увозит во Францию Жозефа и Наполеона: не разрывом сердца, стало быть, было для него первое расставание с матерью и родиной. Товарищ его детства едет с ним. Они оба едут навстречу новому, приключению и удаче под водительством этого отца — любезного, красивого, образованного, остроумного, который сочиняет песенки и говорит ласковые слова, существа исключительного и как бы немного из мечты, появлявшегося через довольно редкие промежутки в их плоском и диком существовании, чтобы ослепить его праздниками, обедами и торжествами; отца-сеньора, который видит короля Франции, когда ему заблагорассудится, на досуге беседует с министрами, обращается как равный с губернатором, задумывает великие предприятия и ведет огромные замыслы. Все проекты, кипящие в мозгу Шарля, все иллюзии, которыми он себя тешит, все тщеславие, которым он себя питает, — для детей реальности. Они оба искренне верят, что никто после Паоли не играл столь великой роли, как их отец, в войне за независимость, и оба, совершенно искренне, от первой своей поездки сохраняют точное воспоминание, что их отец был превосходно принят во Флоренции великим герцогом Тосканским (который в тот момент находился в Вене) и что он увез рекомендательное письмо Леопольда к его сестре, королеве Франции. Всю жизнь они оба останутся в этой вере, которую малейшая проверка фактов и

дат должна была бы разрушить, которая сохраняется даже после того, как смерть отца унесла много других иллюзий.

Когда отец уехал, оба вместе в Отёне — и этого еще достаточно для их сердца: они развлекаются, утешаются, поддерживают друг друга; настоящий разрыв происходит после пяти месяцев в Отёне, когда обоих братьев разлучают и Наполеон поступает в училище в Бриенне; тогда для него, особенно для него, необщительного и нелюбезного, наступает одиночество окончательное, полное, без единого земляка, с которым можно было бы объясниться, поговорить о родной стране, которая, став дороже и привлекательнее, занимает отныне все его мысли. Этот девятилетний ребенок начинает здесь борьбу за жизнь. Под суровым небом, среди невежественных наставников и враждебных соучеников, подчиненный дисциплине, возмущающей его дух, и привычкам, возмущающим его тело, он должен один учиться, возвышаться, воспитывать себя, намечать свою карьеру и обозначать путь, который намерен пройти. Помощи извне ждать неоткуда; поддержкой ему служат лишь чувство долга, честолюбивое стремление достигнуть цели, убежденность в своей судьбе. Он замыкается в себе, уходит в свои воспоминания, уединяется в своей мечте. К вынужденному затворничеству он прибавляет, если можно так выразиться, затворничество добровольное и, наедине со своей мыслью, кует и закаляет ее. Даже после многих лет пребывания он, кажется, не освоился: конечно, ко всем своим учителям, ко всем товарищам, которые впоследствии взывали к его памяти, он проявлял исключительную доброту, но не похоже, чтобы, кроме, быть может, Бурьенна, у него был с кем-либо круг близости и подобие сердечной откровенности. Свои признания он продолжает доверять Жозефу в усердной переписке, которую с ним поддерживает. Только привязанность, которую он к нему питает, его не ослепляет. Он судит его со строгостью, внушаемой ему сознанием собственного усилия; он знает, что тот мало прилежен и мало трудолюбив, и говорит об этом, но в интересах брата, потому что смотрит под определенным углом на карьеру, которую тому надлежит избрать. Уже теперь воля, дух повелевания, будучи в нем цельными, он намерен распоряжаться будущим Жозефа — и делает это без малейшего смущения, не допуская ни возражений, ни обсуждений; и все же в то же время уважение, которое он питает к старшему, нежность, которую он к нему испытывает, делают его уже тогда готовым на все жертвы, какие он может предложить. В его письмах это скорее не написано, чем обдуманно, но все же может быть прочитано.

Итак, в течение того времени, что Наполеон остается в Бриенне, Жозеф еще первый в его привязанности, и из всех его близких это тот, с кем он наиболее откровенен. Однако в этот период он видит и некоторых других членов своей семьи: его мать, говорят, приезжает его навестить; в 1783 году его отец проезжает через Бриенн в сопровождении Марианны, которую везет в Сен-Сир, и Люсьена, которого оставляет в младших классах. Но к этой сестре, которой семь лет, которую он оставил в пеленках, которую видит в течение одной перемены, как он внезапно проникся бы привязанностью, а что до Кавалера, который моложе его на шесть лет, — их характеры уже созданы, чтобы сталкиваться. Люсьен воображает, что, вступив на то же поприще, что и его брат, он ему равен. Наполеон готов заниматься им, но как покровитель, руководитель, наставник. По признанию самого Люсьена, именно этим первым впечатлениям он обязан отвращением, которое всегда испытывал к тому, чтобы склоняться перед ним.

Остальной семье в письмах, которые он пишет, — никаких излияний, никакой пылкости, никаких проявлений нежности: ни слова матери, маленьким сестрам, родившимся после его отъезда; зато бесконечное перечисление дедов, бабок, дядей и теток: Минана Саверия, Минана Франческа, тетя Гертруда, дядя Николино, тетя Тута — все, кого он любит и чьи имена ему приятно писать. Он из тех, кто, как в закрытой часовне, хранит свои чувства на дне сердца и говорит о них тем меньше, чем сильнее их испытывает. Ясность, твердость, сухость, странная зрелость, совершенно здравый взгляд на каждого из существ, составляющих семью на его ступени, и на пользу, которую из них можно извлечь, странная настойчивость в их частном

продвижении ради общего интереса — вот что показывают в его письмах этот тринадцатилетний мальчик.

Покинуть Бриенн для него — освобождение: это значит подняться на последнюю ступень, отделяющую его от офицерского звания, приобрести внешнее завершение своей личности: никакой боли от расставания с Люсьеном; прежде всего, между ними нет симпатии, слишком велика пропасть в возрасте и понятиях, убежденность в том, чего он уже стоит, усугубленная некоторым презрением к этому брату, который учится в младших классах, наконец, ощущение открытой карьеры, куда он первым из всех корсиканцев вступит, зная математику.

В Париже никакого сближения с Марианной, запертой в Сен-Сире, как он в Военной школе. Кроме нескольких ожидаемых приездов родных — депутатов Штатов, приезжающих ко Двору, — никакого соприкосновения с семьей, меньше переписки, чем в Бриенне: Жозеф в самом деле уехал обратно на Корсику. И с письмами: из Бриенна в Отён были оказии; из Парижа в Аяччо письмо стоит по меньшей мере девятнадцать су, и, если не найти способа переслать бесплатно, под чьей-нибудь припиской, не пишут.

Смерть отца не причиняет Наполеону горя, которое он испытывал бы потребность излить в плачах. Это годится для женщин. Он принимает ее как мужчина, как солдат, которым уже стал. Совсем ребенком он мало жил с ним; за шесть лет он видел его один раз, в течение часа. Он не может поэтому испытывать к нему той нежности, которая складывается главным образом из привычки и повседневных впечатлений. Можно сказать, что он его не знал, что он его себе вообразил. В его смерти он видит прежде всего бремя, падающее на него самого: все бремя семьи — бедной, в долгах, связанной обязательствами перед государством во всякого рода предприятиях, которые Шарль изобретал, которые благоволение интендантов и командующих определяло, которые одна лишь политика могла оправдать; которые каждый год поглощают без верной прибыли значительные суммы и которые правительство, теперь, когда покровители Бонапарта исчезли, расположено поддерживать лишь посредственно.

Пока Жозеф будет на Корсике, под верховным руководством архидиакона Люсьена, управляющим и распорядителем семейных владений; пока он будет надзирать за работами, начатыми в Саленах и в двух питомниках, за счет государства; пока он будет получать ученые степени с целью занять судейскую должность на острове; пока он будет исполнять по отношению к семье и клиентам роль главы и покровителя, положенную ему по праву первородства, — он, Наполеон, находящийся во Франции, возьмет на себя внешние дела. Это он будет ходатайствовать перед министрами и старшими письмоводителями, искать покровителей, составлять прошения, добывать младшим братьям стипендии в училищах, добиваться уплаты оспариваемых долгов и просроченных пенсий; это он в шестнадцать лет, не ослабевая, не жалуясь, не уставая, но внося в это ту жесткость и тот вид властности, от которых уже тогда не может избавиться даже там, где ему нужны были бы гибкость и смирение, чтобы преуспеть, будет биться против равнодушия одних, недоброжелательства других, против интендантов, субделегатов, принципалов, чтобы вытащить семью из бездны и поставить ее на ноги. В каком она положении? В таком безденежье, что не может вернуть двадцать пять луидоров, занятых Шарлем в конце 1784 года у господина дю Розеля де Бомануара, коменданта Аяччо, для поездки с Марианной в Сен-Сир, и в обеспечение долга госпожа Бонапарт предлагает свое серебро! И для этой работы, которую он берет на себя, какие опоры, какие подмоги встречает Наполеон? — Одну лишь свою волю, свою деятельность и свое звание артиллерийского офицера. Вот его главная карта, та, которую он разыгрывает при каждом случае, единственная, которая счастливым ударом может его спасти, останется ли он на службе Франции или перейдет на крупное жалованье на иностранную службу. И как он ею гордится, как ею щеголяет, как пользуется при каждом удобном случае, стараясь никогда не называть свой чин, свой жалкий чин младшего лейтенанта, но всякий раз прибавляя к подписи величественное и неопределенное звание: артиллерийский офицер!

Среди этого кипения идей, наполняющих его мозг, в этом разбросе занятий, увлекающих его через все времена, все философские и общественные теории, он ни на миг не упускает из виду семью и долг перед нею. Мало того, что он живет благоразумно, не делая ни одного долга, не позволяя себе ни одной прихоти; семье он отдает все, жертвует всем. Только — и здесь, быть может, против его собственной воли, сказались пребывание на континенте и полученное там воспитание — кажется, что уже тогда он не распространяет семью до бесконечности, не считает себя обязанным перед кузенами какой бы то ни было степени и, если не утрачивает понятия о клане, то по крайней мере отстраняется от него, освобождается от него, противопоставляет ему и предпочитает ему идею справедливости. Что бы ни случилось, он не позволит себе быть рабом клана под тем предлогом, что он его глава, и будет постоянно отказываться от того рабства, которое принимают, чтобы сохранять и расширять свою клиентелу, корсиканцы старого закала. Если бы клановый дух преобладал в Наполеоне, он привел бы к завоеванию Франции корсиканцами, к занятию ими всех важных должностей. Он им, можно сказать, ничего не дал и ограничивал свои милости сообразно услугам, оказанным Франции, и тем, которые ей можно было оказать. По правде сказать, он отдал Корсику своему клану, но от него он защитил Францию. И этого, по совести говоря, многие корсиканцы ему еще не простили.

После семи лет отсутствия он возвращается в родную страну; он, можно сказать, знакомится с теми существами, ради которых жертвует собой. Он возвращается под материнскую дисциплину; ибо в глазах его матери этот офицер, этот писатель, этот мыслитель, столь гордый своим артиллерийским мундиром, — все тот же маленький ребенок, каким был до отъезда во Францию, ребенок, которому предписывают поведение, которому велят присутствовать на большой обедне и которого при случае порют ловкой рукой.

Представлял ли он себе в своих мечтах Бриенна, Парижа, Валанса столь тесным существованием в доме, управляемом деятельной и неумолимой экономией архидиакона и госпожи Бонапарт?

ончились теперь обеды, на которые Шарль созывал губернатора и интенданта; кончились хлебосольные обычаи, обеспечивавшие клиентов и обязанных в Уччани, Боконьяно, Бастелике, друзей и избирателей по всему острову, доставлявшие в мирное время депутатские мандаты, а при наступлении войны отдававшие ружья под начало Шарля. Теперь в закрытом доме Бонапарт держит лишь одну служанку на все, няньку за три франка в месяц. Пока могла, она сама делала всю работу; понадобилась болезнь пальца, помешавшая ей сделать хоть стежок, чтобы она решилась присоединить к корсиканке тосканку, которая без жалованья, по-дружески, почти по-родственному, заботилась до тех пор о самых маленьких детях. До какой степени доведена у госпожи Бонапарт строгая экономия, до какой степени не хватает денег, и не вообразить без нескольких найденных обрывков писем: вот Наполеон жалуется, что мать не вернула ему шесть экю, которые он ей одолжил; в другой раз — три. Для малейшей посылки белья или вещей своим сыновьям нужно, чтобы они заранее выслали ей деньги за пересылку. Когда семья перебирается из Аяччо в Уччани, дети посылают свой тюфяк: у каждого лишь один. Ничего из того, что приобретается за деньги, ничего из того, за что нужно платить деньгами, ничего, кроме местных продуктов, которых нельзя продать: каштаны, вино, масло, которые собирают; деньги считаются чем-то столь редким, столь особенным, столь примечательным сами по себе, что почти не усвоено понятие, будто они могут служить для чего-то иного, кроме накопления, — чем и занимается архидиакон Люсьен, который для большей предосторожности прячет свое сокровище в постели и спит на нем.

Да, существование бедно, но это материнский дом, это родной остров. Слишком счастливый человек! беги, лети, не теряй ни минуты. Если смерть остановит тебя в пути, ты не узнаешь наслаждений жизни — наслаждений нежной признательности, почтительного уважения, искренней дружбы... Это Наполеон говорит так в своей речи в Лионской академии, и это именно те впечатления, которые он испытал, когда впервые обнял мать, брата Жозефа, Луи,

который при его отъезде только что родился, и трех маленьких существ, родившихся за время его пребывания во Франции: Марию-Паолетту, Марию-Нунциату и Жерома. Двое старших — Полетта и Луи — сразу завладевают его сердцем: первая — уже столь хорошенькая в раннем детстве, что обольщает всякого, кто ее видит, и столь живая, веселая, шаловливая, вся во власти выдумок, насмешек, проказ, которым ее миловидность придает еще больше забавности. Как ни считает он себя серьезным, как ни взрослый он юноша, как ни офицер, у Наполеона есть запас детства, который, сжатый изгнанием, заточением в коллеже и училище, подавленный его волей казаться мужчиной и не давать видеть себя иначе, вырывается, едва приоткрывается клапан, — в играх, смехе, шалостях. Поэтому в строгой близости он навсегда останется молодым, молодостью иногда утомительной для людей, которых он будет любить больше всего, — особенно для своих двух жен.

По отношению к Луи он снова надевает серьезную маску, ибо уже тогда имеет о нем свои соображения и хочет учить его, сделать из него своего ученика, а для этого нужно уважение, тогда как с Полеттой он забавляется. С Жозефом он рассуждает и размышляет. Это долгие беседы, прогулки по берегу моря, бесконечные рассуждения о будущем Корсики, об их общем будущем, о литературе, политике и философии. Уже в этом непрерывном соприкосновении, в этом постоянном обмене мыслями их взгляды, их формирование, их склонности обозначаются, и почти можно судить, куда они их приведут.

У Жозефа есть уравновешенность и здравый смысл; он не лишен образованности, хотя провел лишь пять лет в Отёнском коллеже и с шестнадцати лет предоставлен самому себе. Он правильно пишет по-французски и чисто говорит по-итальянски. В его речи или письме нет яркости, в беседе — остроумия, и его шутки тяжелы; но он размышляет, умеет молчать и ставит себе цели, к которым стремится с терпеливым упорством. Он верен в дружбе, приятен в общении и проявляет уступчивость к тем, кто ему по нраву, доходящую до слабости. Его действительные качества — более сердечные, нежели умственные — испорчены тщеславием, которое кажется несогласным с современными политическими теориями, им самим исповедуемыми, но объясняется одновременно его атавизмом и воспитанием, расой, из которой он вышел, и средой, в которой живет. Теории континентальны; они лишь слегка коснулись Жозефа, не проникли в него; он о них говорит, он, быть может, верит, что их применяет; но он остается корсиканцем и переносит все идеи, имеющие хождение во Франции, согласно тому методу, который ему свойствен. Совершенно серьезно считая себя в восемнадцать лет главой и руководителем семьи; принятый и признанный таковым всеми, малыми и большими; убежденный не только в важности, которую получает от своих обязанностей, но и в превосходстве, которое дает ему его происхождение, он каким-то инстинктом приводится к тому, чтобы все в семье относить к себе и смотреть на братьев как на работников, обязанных трудиться для его благополучия. В самом деле, благополучие главы семьи есть благополучие семьи, как, в ином смысле, благополучие главы клана есть благополучие клана. Он глава — этого достаточно. Поэтому он довольно охотно полагается на других и избегает нарушать свою безмятежность заботами, которые считает бесполезными. Он вял, ленив, несколько не торопится. Он убежден, что без всяких движений и усилий с его стороны все должно прийти ему в руки, — и все приходит. Он не упускает ни от кого из младших — кроме Наполеона — внешних знаков уважения и требует, чтобы они говорили ему «вы», тогда как сам говорит им «ты». Со своими сестрами он обращается с той высокомерной манерой, которую применял бы не нежный отец, а суровый дед, говорящий сентенциями, чьи уроки выслушивают. Ему нравится, как он сам рассказывает, играть в сеньора, объезжать верхом рядом со своей теткой Паравичини земли, которые принадлежат или могут принадлежать семье, представляться прежним клиентам отца, пробовать себя в роли главы клана, но в почетном, так сказать, качестве, без денег на содержание преданных людей, без влияния, чтобы покровительствовать верным, без деятельности, чтобы их спланивать, без политического пыла, чтобы разжигать их усердие, — кажется, ни для

чего, кроме получения комплиментов и тех знаков почета, которые производят шум и дым. Он придает чрезвычайное значение древности своего рода, престижу своего происхождения, союзам, которые его Дом заключал с первыми семьями острова. Если его послушать, лишь от него зависит получить ордена и ленты; государи Тосканы почтены принимать его при своем дворе, а путешествующие кардиналы избирают его спутником по своему выбору. Почти все это происходит в его воображении, но нельзя верить, что ему недостает искренности. Он, по-видимому, желает величия с таким простодушием, что ему достаточно испросить его, чтобы считать приобретенным, и перечислить свои титулы в прошении, чтобы они стали несомненными. Точно так же он не сомневается, что получит всякую должность, которой возжелает. Поэтому, как только с введением выборности откроется эра выборов, он, несмотря на свой юный возраст, станет вечным кандидатом на все должности, каковы бы они ни были, всегда уверенный в успехе и всегда обреченный на поражение.

Его корсиканский патриотизм, гораздо менее пылкий, чем у Наполеона, удовольствовался бы тем, чтобы на острове все должности административные, судебские и финансовые — оплачиваемые Францией — были закреплены за местными уроженцами и чтобы из этих должностей он получил те, что приносят больше всего чести и выгоды. Хотя он не достиг возраста, с которого на континенте можно быть назначенным на малейшую должность, хотя он не получил во Франции ученых степеней и лишь собирается сдать в Пизе, не посещая университетских курсов, экзамены, которые кажутся снисходительными, он тем не менее, еще не имея дипломов, считает себя способным ко всякой должности и полагает несправедливостью, что его не назначают хоть на что-нибудь. Впрочем, не имея в то время точной цели, его честолюбие, сколь ни велико оно, не деятельно: оно ограничивается мечтой и почти удовлетворяется вымыслами.

Что до политических и философских доктрин, он вынес из своего чтения отвращение к войне, общий оттенок сентиментального гуманизма; он расположен принимать, если не применять на практике, большинство теорий, которые Учредительное собрание намерено ввести в законы и учреждения; но склонен придавать им тот несколько высокомерный оттенок, который будет встречаться на скамьях меньшинства от дворянства среди великих либеральных сеньоров. Уже тогда Жозеф, если воспользоваться принятой формулой, был бы, можно сказать, человеком Восемьдесят девятого года, тогда как Наполеон по своему уму, склонностям, доктринам был бы человеком Девяносто третьего. Жозеф исходит от Монтескье; Наполеон — от Жан-Жака. Один мечтает о конституции в духе Ликурга с элементами коммунизма в основе; другой — о конституции по английскому образцу, со значительной ролью, отведенной крупной собственности. Наполеон полагает, что демократия может осуществляться лишь через посредство выборных вождей, облеченных в гражданской и военной сфере диктаторскими полномочиями; Жозеф, хотя он не оратор, состояние его посредственно, семья не возвышена достоинствами, отвержен парламентским учреждениям, которые оставляют влияние людям, получившим образование, занимающим должности или имеющим от рождения особые привилегии.

Между двумя братьями общих идей довольно мало, но почвой для согласия служит возвышение семьи, и спор, чисто теоретический, всегда подчинен обязательствам перед Корсикой, чисто корсиканским доктринам. Поэтому они не преминут понять друг друга.

Наполеон во время этого первого пребывания вновь знакомится с некоторыми своими родственниками, кузенами или свойственниками; но так как большинство из них не знает французского, он не в состоянии объясняться, ибо забыл итальянский и корсиканский говор. Он, стало быть, оказывается в том странном положении, что при своем непримиримом патриотизме, при замысле написать историю своей страны, при горячем желании расспрашивать тех и других об эпизодах войны за независимость он представляется большинству людей полуиностранцем, офранцузенным, с которым связь мыслей порвана за отсутствием языка, на котором их выразить. Поэтому случается, что, нуждаясь в обществе, он бывает почти чаще у фран-

цузов, живущих на острове, чем у самих корсиканцев. Он часто садится за стол офицеров, особенно товарищей-артиллеристов. Не то чтобы он был согласен с большинством из них: он постоянно готов к жаркому спору за философские принципы, к нападкам на то, что называет французским рабством, к упорной апологии корсиканской свободы.

Позднее, в другие свои приезды на остров, вновь освоившись с языком, он будет ходить по горам в поисках рукописей, редких печатных изданий, которые получит от тех или иных, для задуманной работы. Он найдет, без сомнения, в каждом доме сердечное и безвозмездное гостеприимство, предписываемое нравами; он будет счастлив показать свои эполеты, будет щеголять престижем, которым облакает его даже в глазах чистых паолистов его звание офицера, офицера артиллерии — того рода войск, которым Корсика была побеждена, — но, что бы он ни делал, каковы бы ни были его патриотические заявления, сколь бы искренни они ни были, он не сотрет впечатления, что он офранцузенный; непримиримые будут относиться к нему с недоверием, как, по сходным причинам и в разной степени, они будут недоверчивы к его братьям.

Такую жизнь Наполеон ведет с сентября 1786 по июнь 1788 года, в течение почти двух лет, прерываемых лишь трехмесячной поездкой в Париж (октябрь-декабрь 1787 года), поездкой, которая была бы необъяснима, не будь она вынужденной: в августе в самом деле, из-за опасения войны с Пруссией из-за Нидерландов, все отпускники были отозваны; затем, когда угроза войны миновала, пришла отмена приказа, и продления отпусков были даны тем, кто их просил. Наполеон уже доехал до Марселя, когда узнал об отмене, и, так как его полк стоял в Дуэ, он воспользовался случаем, чтобы, быть может, присутствовать на смотре инспектора, затем повидать Париж и похлопотать о застопорившихся делах. Едва получив какое-то обещание, он вернулся на Корсику, где его присутствие было тем более необходимо, что Жозеф находился в Пизе для получения степеней, а в доме нужен был кто-то, кто следил бы за работами, писал прошения, вел их у интенданта и в Штатах. Лишь в конце июня 1788 года, когда вернулся Жозеф, он присоединился к своему полку в Осоне.

Вновь привыкнув к семье, его сердце теперь полно теми, кого он покинул. Он привязался к детям, особенно к господину Луи, с почти отцовской нежностью. Он грустит, он болен; из-за дороговизны почтовых отправок он месяцами остается без вестей от своих. «Я не имею их с октября», — пишет он 12 января 1789 года. Чтобы рассеяться, он работает, учится своему артиллерийскому ремеслу, переделывает все свое историческое образование, знакомится с великими интересами, которые приводит в движение созыв Генеральных штатов; но посреди этого беспримерного труда он ни на миг не забывает интересов семьи, не упускает из виду притязаний, которые следует поддерживать при Дворе, и заявляет о них при каждом случае. Как только он видит возможность получить полугодовой отпуск, он просит его и уезжает на Корсику, куда его влекут одновременно привязанности, интересы и страсти.

В брожении, которое он вызывает с первых же дней своего пребывания в Аяччо с целью учредить, как на континенте, национальную гвардию и муниципалитет, он увлекает за собой всех своих, всех, кто привязан или связан с его семьей, старых и молодых. Так как вначале речь идет о чисто аяччском вопросе, затем о чисто корсиканском: изгнать французских чиновников, учредить под смутным протекторатом Франции свободу Нации и, быть может, даже ее независимость, — он находит приверженцев среди большинства аяччцев и корсиканцев. В этих первых движениях его смелость, ловкость, хладнокровие, успехи, само звание офицера выдвигают его, делают вождем партии, дают ему влияние. Но когда победа обеспечена, пробуждается зависть. Он слишком молод; он почти континентальный человек; его отец был перебежчиком, его мать зналась с Марбёфом; он мешает; он обременителен; если не остережся, он подменит собой, подменит своими людьми глав старинных, богатых семей, имеющих приобретенные права. Особенно мешает ему его бедность, ибо после национального движения, в которое он все увлек, дух клана вновь взял верх. Со смерти Шарля клан Бонапартов — впро-

чем, посредственный — рассеян. Нет денег на выборы. У него нет даже чем заплатить жалкий счет типографа. И вот, перевернув целиком Корсику, сделав ее неотъемлемой частью Франции, доставив ей тем самым все свободы, которыми Учредительное собрание осыпало старые провинции, сделав все это почти в одиночку, с сентября 1789 по февраль 1790 года, что получает он? Для Жозефа — неоплачиваемое место адъюнкта в муниципалитете Аяччо, затем место в 900 ливров в Директории дистрикта; для Феша — место главного викария, которое не стоит места архидиакона, им занимаемого; для Люсьена, для себя самого — ничего. Все жирные куски достались личным друзьям Паоли и вождям кланов.

Но если Наполеон старается ради своей страны, ради своих идей, то в почти равной степени — ради возвышения своей семьи и продвижения своих. Уже в ту пору для всякого корсиканца идеал — быть чиновником, — это хорошо видно из памфлетов Жозефа, — созданы сотни должностей, и вот что ему оставляют. Тем не менее он не падает духом. Председательство в дистрикте Аяччо, которое он добыл для Жозефа, вводит его в заблуждение. На ближайших выборах его старший брат станет депутатом Национального собрания; Люсьен, несомненно, будет куда-нибудь определен — в казначейство или в управление доменами. Поэтому он не считает, что потерял время и труды. Впрочем, чтобы окончательно выдвинуться, он рассчитывает снискать окончательно благосклонность Паоли своим памфлетом «Письмо к Бутафоко» и своей «Историей Корсики». Этими двумя публикациями он утвердится в таком положении при Генерале, что станет необходимым человеком; он окружит его Жозефом, который будет его советником по гражданским делам, и Люсьеном, который будет служить ему личным секретарем. Он поглотит Паоли на пользу Бонапартам.

С этой уверенностью он снова уезжает в свой полк (конец января 1791 года), увозя Луи. Его отпуск истек три с половиной месяца назад, и ему грозит потерять сразу и офицерское звание, и жалованье. На это жалованье он рассчитывает, чтобы жить самому и содержать брата; но мысль об отставке не мешает ему взять на себя Луи, как не побудила уехать вовремя. Свои, их интересы и нужды — прежде всего. Тяжелую миссию берет он на себя — воспитание и содержание двенадцатилетнего ребенка; но семья не может платить за его пансион в коллеже, стипендии, некогда предназначенные молодым дворянам в училищах, отменены; в Аяччо нет средств обучения. Наполеон не колеблется: он станет наставником своего маленького брата. И, оказавшись в Осоне, уладив вопрос о своем опоздании, какой материнской нежностью, какой горделивой привязанностью окружает он это существо, которое теперь может назвать своим; ибо он кормит его из собственного содержания, и, отказывая себе во всех маленьких удовольствиях, делающих сносной гарнизонную жизнь, дает ему кров, одежду и пропитание. Как он оставляет, говоря о нем, свою серьезную физиономию, свой задумчивый вид, свои высокомерные манеры! «Луи написал пять или шесть писем, — говорит он Жозефу, — не знаю, что он там лепечет. Он усердно учится, учится писать по-французски; я преподаю ему математику и географию; он читает историю. Из него выйдет отличный малый. — Все женщины здешних мест в него влюблены. Он приобрел маленький французский тон, опрятный, проворный; он входит в общество, кланяется с изяществом, задает принятые вопросы с серьезностью и достоинством тридцатилетнего. Мне нетрудно видеть, что он станет лучшим из нас четверых. Правда, никто из нас не получил такого хорошего воспитания. Ты, быть может, найдешь его успехи в письме не слишком быстрыми, но вспомни, что до сих пор его учитель научил его лишь чинить перья и писать крупно. Ты будешь более доволен его правописанием. Это прелестный малый, трудолюбивый как по склонности, так и из самолюбия, и притом полный чувства. Это человек сорока лет, обладающий его прилежанием и рассудительностью. Ему недостает лишь приобретенного».

Не правда ли, это нота нежности, которой не ожидаешь, нота, показывающая в двадцатидвухлетнем Наполеоне вполне развившееся отцовское чувство, инстинкт воспитателя, способность руководить, присоединяющаяся к его властному характеру, но с таким мягким и милым

оттенком нежности, с таким исканием оправданий для своего маленького ученика, с такой готовностью довольствоваться, каких обыкновенно не встретишь в его натуре? Луи нравится ему тем больше, что он чувствует его — тогда — более совершенно покорным: он счастлив видеть, что тот приобретает светские привычки, которых у него самого нет, и находить в нем ту серьезность, которая кажется ему у ребенка признаком высшей натуры. Он рассчитывает сделать из него свой шедевр, шедевр семьи, и уже теперь возлагает на него как бы надежду на грядущее.

Можно ли подумать, что он обманывается насчет господина Луи и видит его в слишком розовом свете? Ум в таком возрасте едва ли замечен кому-либо, кроме учителей; но о сердце позволяют судить некоторые фразы: и разве не мило это в письме Луи к Жозефу: «Вам стоит сказать одно слово — и я останусь; вам стоит сказать противоположное — и я приеду. Наконец, вы не должны не знать, что после Наполеона вы тот, кого я люблю и лелею больше всех». И эта фраза, где проявляется среди нужды, в которой он живет год спустя на Корсике, вся прелесть щедрой и дарящей натуры: «Я дарю вам мои два шейных платка, которые оставил мне Наполеоне. Я пришлю их оба из Уччани, потому что они там с нашим бельем. Так напишите маме, чтобы она больше не брала ваши шейные платки; но не говорите ей, что я их вам послал». Разве не достаточно этих скромных подробностей о белье, чтобы увидеть в них сердечные деликатности, почти женственные, которые добавляют необходимую черту к милому и открытому портрету, нарисованному Наполеоном с этого славного ребенка? Поистине, зрелище, которое не следует упускать в этой жизни, давшей столько и столь великолепных зрелищ: оба брата, работающие бок о бок в своей бедной меблированной комнате, младший, погруженный в математику, которой почти не понимает, или старающийся переписать какой-нибудь красивый образец письма, старший, поочередно охватывающий религию, политику, историю и набрасывающий свою речь для Лионской академии, которую младший переписывает своим лучшим почерком. В течение этих восьми месяцев — ни мгновения усталости или нетерпения, ни одной слабости ни в поведении, ни в надзоре со стороны Наполеона. Он живет как самый строгий монах, и сила его мысли оттого растет, как и мощь его честолюбия, как и его способность к привязанности, всецело сосредоточенная на этом ребенке.

По возвращении на Корсику в октябре 1791 года Наполеон обнаруживает, что ни одна из его мечтаний не сбылась: оружие, на которое он рассчитывал, обратилось против него. Паоли не одобрил «Письмо к Маттео Бутафоко»; он отказался предоставить документы по истории Корсики и придать этой публикации тот полуофициальный характер, который засвидетельствовал бы Наполеона как его панегириста и истолкователя его политических идей. Он, казалось, сделал уступку Жозефу, согласившись, чтобы тот был назначен членом департаментской Директории; но в действительности это значило свести на нет влияние, которое тот имел в Аяччо и дистрикте, утопить его в сложных делах, к которым ему не питали доверия, затерять его в безымянной коллегии — и все это за годовое жалованье в 1600 ливров. Люсьен по-прежнему без занятия, и если Генерал еще не заявил формально, что не потерпит его при себе, то по крайней мере не выказал никакой поспешности его принять.

В этот самый момент счастливый случай дает Наполеону в руки орудие, жалкое орудие, которого не доставало его судьбе. Дядя, архидиакон Люсьен, умирает (16 октября), и семейное состояние, держателем которого он был, сокровище, которое он так тщательно прятал под своими тюфяками и из-под которого Полетта, однако, ухитрялась выкатывать несколько экю на пол, восстановит равновесие и, если не поставит Бонапартов в первый ряд, то по крайней мере докажет, что с ними следует считаться; что для успеха они могут обойтись без других, даже без Паоли, и что они — сила. Избрание Наполеона подполковником, вторым командиром батальона аяччских и таланских волонтеров, с предшествующими ему переговорами, сопровождающими его насильственными действиями, последующими празднествами и протестами; это избрание, которое, с точки зрения континентального человека, несостоятельно

по своей незаконности; которое для всякого корсиканца является чудом ловкости, совершенным образцом, которому всегда следуют, — это чудесное избрание оплачено деньгами архи-диакона, а денег нужно много! «В этот миг, — пишет Люсьен вечером после голосования, — дом полон народу, и музыка полка. Вино из Спощетты льется полными бочками, стреляют из ружей, сажают деревцо». Это один из тех триумфов, когда нужно кормить всех своих друзей, сколько им угодно оставаться, — а здесь друзей целый батальон, не считая отцов, братьев, кузенов и свойственников волонтеров.

Это, конечно, победа; но, принося неоценимые выгоды, если ее можно считать первой и необходимой ступенью судьбы Наполеона, она на данный момент восстанавливает против Бонапартов ожесточенную вражду. К уже грозной группе противников, созданной им избранием, присоединяются все те, кого поднимают против них в одном лишь Аяччо распри между присягнувшими и неприсягнувшими, белым и черным духовенством, соперничество горожан, жителей предместий и горцев, — гнев, которые, разжигая друг друга, приводят к кровавому апрельскому бунту, в котором Наполеон со своими волонтерами оказался чрезвычайно скомпрометирован; но, кроме французского коменданта цитадели, все, в сущности, заинтересованы в том, чтобы дело было замято. Корсиканцы не любят, чтобы правосудие континентальных вмешивалось в их распри: они улаживают их между собой и по-своему. Свое грязное белье стирают в семье. Едва прошел первый пыл — молчание по всей линии, в одном лагере, как и в другом. Но неизвестно, не приведут ли французы, которым не обязательно молчать по той же причине, что и корсиканцам, правосудие в движение; а такие деяния, как апрельский бунт, подлежат ведению Национального верховного суда, и, помимо того что он может вынести суровые приговоры, орлеанские тюрьмы, которые вот-вот возьмется очищать Фурнье-Американец, не слишком надежны. Кроме этого дела, которое ему нужно представить в благоприятном свете, у Наполеона есть в Париже и другие: из-за своего отсутствия в момент обязательного смотра он вычеркнут из списков артиллерии и не имеет иного звания, кроме подполковника, второго командира батальона волонтеров, находящегося в мятеже; он намерен не терять места артиллерийского лейтенанта и должен добиться восстановления в списках. Наконец, Сен-Сирское заведение может быть закрыто, и Марианна выброшена на улицу: нужно, чтобы кто-нибудь из семьи туда съездил, и Наполеон — самый подходящий.

В Париже за очень короткое время он улаживает дела, касающиеся лично его: о бунте умолчат; на отсутствие не обратят внимания: он не только восстановлен лейтенантом, но и произведен в капитаны. Остается Марианна. Была, говорили, некоторая надежда выдать ее замуж на Корсике; но при ближайшем рассмотрении эта химера существовала лишь в уме госпожи Бонапарт. За неимением этого тешили себя мыслью, что если Марианна останется в Сен-Сире до двадцати лет, она получит положенное приданое в три тысячи ливров и приданое бельем на триста. Стоило позаботиться об этом, прежде чем принимать решение.

Первый визит Наполеона в Сен-Сир рассеивает эту последнюю иллюзию. Нет сомнения: заведение будет закрыто, и на приданое надеяться нечего. Остается лишь решить, следует ли, рискуя всем, ждать события или предпочтительнее действовать на опережение. — «Марианна проста, — пишет Наполеон Жозефу. — Она очень легко привыкнет к домашнему укладу. В ней нет лукавства. В этом отношении она еще менее развита, чем Паолетта. Ее нельзя было бы выдать замуж, не продержав шесть или семь месяцев дома... Я чувствую, что она была бы несчастна на Корсике, если бы осталась в своем монастыре до двадцати лет, тогда как теперь она переедет, сама того не заметив». Вот его суждение, вынесенное с первого же визита, об этой взрослой девушке, с которой он, в сущности, только что познакомился; ибо он расстался с ней, когда ей едва исполнилось восемнадцать месяцев, мельком видел ее в Бриенне в 1784 году, быть может, заметил в Сен-Сире в 1787-м; и о том, что она думает, он знает лишь по тому, что она говорит. В заведениях, подобных Сен-Сиру, есть общий тон — тон самого дома, который всякая пансионерка обязана перенять и под которым она скрывает свою природу, харак-

тер и стремления, как волосы под старушечьими чепцами госпожи де Ментенон. Поди суди о Марианне по письмам, которые ей велят составлять и которые исправляют ее наставницы: «Я имела честь вам писать... Я не имела удовлетворения получить ответ... Умоляю вас быть столь добрым и вскоре подать мне о себе вести... Этого одного недостает моему счастью и т. д. и т. д.». Это маска, наложенная на ее лицо, как наложен трафарет на ее почерк и правила на ее голос. Наполеон попадает на это, как большинство мужчин попадает на эти монастырские наивности. Он полагает, что Марианна в свои пятнадцать лет — возраст, в котором на Корсике почти всякая девушка уже пристроена и уже мать, — после восьми лет, проведенных в Сен-Сире, является ребенком, которого поведут по своему усмотрению; но отпечаток, полученный ею в Королевском заведении, она сохранила на всю жизнь! Даже эмансипировавшись в некоторых отношениях сверх необходимого, она осталась по существенным чертам воспитанницей, питомицей госпожи де Ментенон, с запасом молинистских идей, аристократическим складом ума, страстью к уставам, убеждением в превосходстве женщины над мужчиной, проявляющемся не в женской сфере, а в той, которую тогда еще называли предназначенной мужчине. С опущенными глазами, короткими реверансами, бесцветным голосом, в ней нет лукавства, говорит Наполеон, привыкший в семье видеть такую женщину, как Паолетта, не находя иного предмета сравнения с Марианной и удивляясь, что пятнадцать лет одной так не похожи на двенадцать лет другой. Конечно, это совсем иное: та рождена нравиться мужчинам, привлекать их, обольщать, брать их и, живая или мертвая, вдыхать им желание до мозга костей. Она являет одно из тех лиц человечества, которые заставляют верить, что среди предков людей были боги. И она настолько женщина, что думает лишь о том, как подчеркнуть свою красоту и украсить свою миловидность, — вся она в этих словах Наполеона к Жозефу: «Посылаю тебе листок из „Журнала мод“: это, должно быть, для Паолетты». И разве не видишь ее в высокой темной комнате учанийского дома, разглядывающей раскрашенную картинку, которой уже три года, и старающейся сделаться похожей на парижских дам, перекраивая на свой лад бедное маленькое платьице из льняного холста, что выткала ее мать?

Четыре месяца, проведенные Наполеоном в Париже (28 мая — ноябрь 1792 года), заняты не только хлопотами о своих делах или визитами к Марианне: их наполняет, их делает решающими в его карьере размышление, которое он ведет сам с собой и которое освещается зрением великих революционных дней, 20 июня и 10 августа; размышление чрезвычайно важное, поскольку речь идет о том, останется ли он корсиканцем с Паоли или станет французом с Революцией. От решения, которое он примет, зависит не только его собственная участь, но и участь всех его близких: поэтому он с тщательной подробностью взвешивает все за и против, и можно в известной мере восстановить различные впечатления, получаемые его мыслью.

В начале своего пребывания он еще всецело корсиканец; он остановился в меблированных комнатах, где живут корсиканские депутаты Законодательного собрания; он слышит разговоры только о Корсике и Паоли. Его внимание, слишком долго поглощенное единственно событиями, в которых он на Корсике так деятельно участвовал, должно вновь собраться, чтобы он приобрел ясный взгляд на положение во Франции и на выгоды, которые оно может ему доставить. Нужно, чтобы он вышел из этой провинциальной среды, бывал у новых людей, учился на событиях.

На Корсике для него и его близких какое положение и какое будущее? Может ли он там встать позади тех, кто держится единственно за свою независимость, свои старые обычаи и древние нравы? Может ли он довольствоваться посредственными местами, которые они ему оставят, и даже если допустить, что во многом его взгляды не побуждают его восставать и против этих людей, и против их принципов, может ли он довольствоваться тем, чтобы вечно быть отодвинутым на второй план? Дадут ли ему даже это? Чем более Бонапарты представляются паолистам умными и способными, чем более они стараются, чем более суетятся, тем более становятся подозрительными: их отец-перебежчик, их континентальное воспитание, их

либеральные мнения, их приверженность, через Феша, конституционной Церкви, их покупки национальных имуществ — все, что они есть и чем хотят быть, ибо метят высоко, — все делает их подозрительными в глазах непримиримых. Они не из тех, кто, как Поццо, с самого начала отдался Паоли и разделяет все страсти, все ненависти, все ссоры Баббо. Они, правда, пытались окружить его, но, во-первых, места были заняты, во-вторых, сами они были недостаточно гибки. При первой же встрече Паоли почувствовал презрение Наполеона к своим военным талантам: этого не прощают. А затем Бонапарты не подчиняются: они хотят быть сами по себе, обладают инициативой и доказали это. Это не нравится ни диктаторам, даже одряхлевшим, ни собраниям, ни республикам. Итак, в корсиканской партии — никакого будущего: Бонапарты, стало быть, отброшены во французскую партию; она тогда немногого стоит: это не то, что наиболее уважаемо, не то, что наиболее богато, не то, что наиболее влиятельно. Если не считать нескольких офицеров, служащих в армии и не сохранивших в стране никакого влияния, это люди, подобные Саличети и Арене, из посредственных семей, с сомнительной репутацией, ловкие, конечно, но союз с которыми есть компрометация. Однако именно с ними Наполеон должен идти, если останется на Корсике; между тем столкновение между паолистами и французами почти неизбежно, и если французы не получают поддержки нескольких полков, их поражение несомненно.

Не должен ли Наполеон скорее остаться во Франции, где у него есть прочное положение и возможности продвижения, каких он не находит в своей стране? Повсюду одни и те же пружины производят одни и те же следствия: теперь это ему ясно; зачем же тогда упорствовать на этой посредственной сцене Аяччо, когда он может завоевать сцену, достойную его? Издали актеры казались ему выше его роста; вблизи он видит их такими, каковы они есть, — ниже его. Средства, которые он применял на Корсике, те же, что употребляются здесь для успеха, и разве успех, доставляющий временное преобладание в окружном городе, можно сравнить с тем, который обеспечивает тому, кто сумеет взять верх, управление Францией и тем самым владычество над миром? День за днем, час за часом можно проследить работу, совершающуюся в его уме. Немаловажный элемент для его решения — восстановление в артиллерии, производство в капитаны: ибо он солдат, он чувствует, объявляет и утверждает себя таковым, имеет желание и волю показать себя. А кто солдат душой, кто солдат по ремеслу, как Бонапарт, тот допускает войну лишь с настоящими солдатами, кадровыми солдатами под своим началом. На Корсике все, что было бы возможно, — это повстанческая война, война постов и уловок, без всего, что напоминало бы великие операции, которыми мечтает руководить всякий молодой офицер, и с крестьянами, которые действуют на свой счет, совещаются и рассуждают, прежде чем повиноваться, не имеют ничего общего с теми пешками, которые двигают по своему усмотрению на шахматной доске битвы.

Конечно, — но если он останется во Франции, что станет с семьей? Разве не придется заново начинать всю работу по устройству братьев, если только Жозеф, приехав депутатом в Конвент, не окажется тем самым вне конкуренции? Имеет ли он право внезапно бросить людей, которые избрали его своим вождем, доверились ему, составляют его партию, и, под страхом серьезно скомпрометировать своих, не должен ли он передать командование своим батальоном кому-либо из друзей? Не следовало ли бы воспользоваться этой видимостью чина подполковника и нельзя ли добиться его подтверждения в артиллерии — либо в корпусе, бывшем королевском, либо в морской артиллерии, которую собираются формировать? Решение его, без сомнения, принято, но, быть может, с отсрочками, которые навязывают обстоятельства, с промедлениями, которые мог подсказать Саличети, желающий сохранить хотя бы временно на Корсике такого человека, как Наполеон.

Впрочем, все решает одно событие: Сен-Сирское заведение упразднено; воспитанницы распущены без приданого, без обмундирования, лишь с дорожным пособием в двадцать су за лье. Вместо того чтобы присоединиться к полку, ему приходится отвезти на родину эту пят-

надцатилетнюю девушку, которую он не может и думать таскать с собой по меблированным комнатам и гарнизонам. — А на дворе 1 сентября, и убивают в Аббатстве, в Ла Форс, у Кармелитов, в Сен-Фирмене, в Консьержери, в Шатле, в Бисетре, в Сальпетриере, у Бернардинцев; убивают в Версале; убивают в Мо; убивают повсюду, где пароль убийц нашел сообщников, готовых исполнить этот грозный удар избирательного террора, из которого должен выйти Конвент.

Итак, он уезжает; но в Марселе нет судна на Аяччо; невозможно рисковать Марианной на рыбацкой лодке с мыса Корсо; неудачи, помешавшие Наполеону принять участие в выборах, на которые он, быть может, повлиял бы. Жозеф, снова выставивший свою кандидатуру в депутаты Конвента, терпит неудачу, получает от избирателей лишь одно из пяти мест судьи в трибунале дистрикта Аяччо — меньше того, что имел в свое время Шарль Бонапарт, ибо декрет от 23 августа 1790 года, учредив на Корсике девять окружных трибуналов, чрезвычайно сократил прежнюю юрисдикцию королевского судебного присутствия Аяччо.

Следует ли приписать эту неудачу посредственности талантов Жозефа, или это скорее знак недоверия ко всей семье, реванш за выборы, вырванные Наполеоном, предупреждение, что его и его близких считают подозрительными? К тому же Наполеон и Жозеф теперь не единственные, кто в счете; Люсьен вступил в политику, и этот семнадцатилетний мальчишка, не знающий ни правил, ни дисциплины, кажется рожденным для того, чтобы доставлять противникам, и без того необычайно подозрительным, все оружие, какое им может понадобиться.

По выходе из училища в Бриенне, где он провел два года, Люсьен был помещен в семинарию в Эксе, где надеялись получить в его пользу одну из стипендий, предназначенных для корсиканских юношей, готовящихся к духовному званию. Стипендия не пришла; призвание тоже, так что семья решила вернуть его в Аяччо, где он с тех пор жил как дилетант, пачкая бумагу, пища, как он говорит, с удивительной быстротой и питая свой ум декламациями и общими местами, которых делает столь обильный запас, что у него на все случаи готовы целые четки. Так как сердце у него уже слишком развито, чтобы в общественных делах следовать чему-либо побуждению, кроме собственного, советы и увещания не могут ничего с ним поделать. Он, правда, признает за Жозефом, как за старшим, некоторую власть в том, что касается семьи, но при условии, что эта власть останется почетной, потому что знает доброту, даже слабость Жозефа и в своей душе мало уважает его ум. Но от Наполеона, которому он считает себя равным, будучи, как и он, младшим, он не допускает никаких замечаний. «Говорю вам в порыве доверия, — пишет он Жозефу, — я всегда различал в Наполеоне честолюбие, не совсем эгоистическое, но которое перевешивает в нем любовь к общественному благу: я полагаю, что в свободном государстве это опасный человек... Он, кажется мне, весьма склонен быть тираном, и я думаю, что он был бы им, будь он королем, и что имя его стало бы для потомства и для чувствительного патриота предметом ужаса... Я вижу, и не с нынешнего дня, что в случае контрреволюции Наполеоне постарался бы удержаться на уровне и даже ради своей выгоды, я считаю, способен переметнуться...» Наполеону, стало быть, нечего и думать проповедовать ему умеренность, внушать, что памфлеты, которые он сочиняет против того или иного депутата и хочет послать в рукописи Генералу — единственный генерал, это Паоли, — вредят общему благу семьи. По возвращении из Парижа он находит его устроившимся штатным оратором Народного общества, говорящим обо всем и всегда с тем грозным многословием семинаристов, свихнувшихся в революционеры. Одаренный одной из тех речевых способностей, которые заставляют думать, будто у тебя есть идеи, потому что находятся слова, вооруженный одной из тех обильных и расплывчатых риторик, которые заменяют стиль, набитый классическими реминисценциями, производящими на невежд впечатление учености, Люсьен играет в аяччском клубе благодаря своей необычайной скороспелости и посредственному уровню слушателей роль, подобную той, какую другие молодые люди — быть может, немного старше, но едва ли образованнее — играют в этот момент в других клубах, на севере, в центре, на востоке,

на юге Франции. Вопрос возраста и среды, если он не проснулся, как другие, однажды утром в октябре 1792 года одним из законодателей Революции. Так это он, не спрашивая ничего совета, выдвигает Бонапартов на первый план как представителей революционного движения и французских идей. Жозеф, умеренный и лавирующий, хотел бы договориться с Паоли и остаться верным доктринам Учредительного собрания. Наполеон, хотя и принявший решение, считал бы неосмотрительным кричать о нем. Но Люсьен идет напролом и увлекает все за собой.

Право же, нельзя удивляться, что, зная характер молодого человека, Паоли отказался взять его личным секретарем. Люсьен, без сомнения, принял бы это место — он даже ложно хвалится, что занимал его, — но о другой должности, которая обязывала бы его к регулярному труду под чьим-либо руководством, он и слышать не хотел. Рожденный, как он полагал, для великих ролей, убежденный в своем ораторском и литературном гении, все, что не было политикой, казалось ему низким занятием, — в чем он был глубоко корсиканцем, — и женщины, окружавшие его в семье, были слишком корсиканками, чтобы Люсьен в положении, которое он себе создал, не представлялся им гением, человеком, воистину предназначенным прославить род.

Со стороны матери это совсем просто; со стороны Марианны это кажется более сложным. Однако с самого ее приезда между нею и этим братом, чьи политические взгляды должны были бы ее возмущать, устанавливается поток симпатии; между ними образуется связь, которая, несомненно, будет более тесной, чем с кем-либо из братьев. Она аристократка по воспитанию, роялистка по чувствам, он — полная противоположность; прежде всего, они почти одного возраста, соединены в пару, как Жозеф с Наполеоном; он единственный, с кем она может беседовать в доме, так как Жозеф и Наполеон почти всегда в разъездах вне Аяччо, поглощены вопросами личностей, в которых новоприбывшая ничего не может понять, и притом мало расположены делать поверенной эту шестнадцатилетнюю девушку, с которой обходятся без церемоний, по-корсикански. Люсьен, напротив, дорожит мнением женщин, и Марианна, кстати сказать, в доме единственная публика, на которой он может испытывать действие своих образцов французского стиля. Он остерегается Луи, который пересказал бы все старшим братьям; остальные — дети, говорящие только по-корсикански. Разве эта словесность не для того, чтобы пускать пыль в глаза, которые и сами по себе не слишком прозорливы? И разве ничего не значат для ума и воображения молодой девушки эти ораторские успехи, повторяемые и преувеличиваемые на каждом заседании, которые каждый вечер создают Люсьену свиту из света и шума на темных улицах маленького города? Играть в наряды с Паолеттой, играть в куклы с Нунциатой не пристало взрослой барышне из Сен-Сира; но греки, римляне, Брут, «Ночи» Юнга и прочее — это круг, в котором непринужденно движется педантизм в духе Ментенон.

И к тому же одно удовольствие следовать за Люсьеном и привязываться к нему: вот прибывает, чтобы развеселить Аяччо, а при случае и окровавить его, эскадра Трюге; вот высаживается посольство Семонвиля; и тотчас Люсьен становится толмачом посла и фактотумом адмирала. Это неизбежно. Ни Семонвиль, ни Трюге не говорят по-итальянски. Кроме депутатов, которые в Париже или в пути, кроме немногих молодых людей, большей частью связавших судьбу с Паоли, братья Бонапарты и их дядя Феш — едва ли не единственные в Аяччо, кто говорит по-французски; из женщин, без сомнения, одна Марианна, — обстоятельство ничтожное с виду и все же само по себе достаточное, чтобы объяснить, оправдать, даже сделать необходимыми первые выборы Жозефа. — А теперь для Семонвиля и Трюге разве Люсьен не незаменимый человек — он, который в клубе, когда Семонвиль произнес по-французски приветственную речь, непонятную слушателям, сумел перевести ее на итальянский подряд и на память, не сбиваясь и как бы от себя; он, который от имени аяччских якобинцев принес братский привет якобинцам, заседавшим в обществе на борту адмиральского корабля! И какая роль для Марианны, единственной, кто на празднествах, устраиваемых для офицеров эскадры, может слушать и отвечать! Трюге молод, элегантен, хорошо воспитан: хотя он из буржуазной семьи

и скромного происхождения, он до Революции служил в Великом корпусе и приобрел там те изысканные манеры, которые обеспечивали красным офицерам повсюду, где они проходили, несомненный успех. Достигший очень молодым высокого чина благодаря эмиграции старших, он вносит в галантность пыл своего возраста и, можно сказать, своей профессии. Имея лишь Марианну собеседницей, он, говорят, едва не воспламенился до того, что подумывал о браке и даже осуществил бы его; но если в 1793 году еще было время быть влюбленным, то жениться было некогда. Трюге, прибывший в Аяччо 15 декабря 1792 года, уезжает 8 января в злосчастную сардинскую экспедицию и не возвращается.

Впрочем, если бы он и вернулся, застал ли бы он своих друзей Бонапартов, окончательно скомпрометированных как французы тем приемом, который они ему оказали? За три месяца происходят самые странные события: Наполеон, предназначенный со своим батальоном волонтеров для контратаки на остров Маддалена, после тридцати дней тягостного ожидания в Бонифачо терпит неудачу в своем предприятии и возвращается на Корсику (28 февраля), убежденный в недобросовестности Паоли и его сторонников, в их намеренной трусости и возможной измене. Как солдат, он возмущается ролью, которую ему навязали, и отказывается допустить, что политика могла вырвать у него его первую победу. Крещенный французами огнем, он испытывает ужас перед соучастием, которое угадывает с коалицией. Он чувствует, что Паоли вот-вот порвет связи, по правде сказать, уже очень ослабленные, еще связывающие Корсику с Францией; он видит лишь один шанс на спасение в этом кризисе — прибытие Представителей, которых Конвент посылает с миссией на остров: один из них — Саличети, с которым он связался, которого держит в курсе, который, будучи близок с Жозефом, его бывшим коллегой по Директории, сможет пробудить французскую партию, привезет, во всяком случае, помощь, опору, военную силу, быть может, заставит Паоли отступить или по крайней мере задуматься. Речь идет о том, чтобы протянуть время до выхода на сцену депутатов, до момента, когда переговоры, которые они ведут из Тулона, приобретут определенность.

Долго колебавшись, они решают переправиться на Корсику (5 апреля). На деле Паоли уже восстал против Конвента, но еще не объявил об этом, и, в крайнем случае, между корсиканцами можно договориться: дело еще на стадии любезностей, друг другу отвешивают тонкости. Никто не хочет выстрелить первым и взять на себя ответственность; — положение, конечно, странное, не имеющее аналогии в континентальной Франции, объясняемое и оправдываемое нравами народа, недавним завоеванием Корсики, страстным почтением, которое всякий островитянин питает к старому вождю, убежденностью Саличети в том, что разрыв повлечет за собой разгром, материальное разорение и, вероятно, изгнание того, что называют и что оказывается французской партией, того, что вынуждены так называть, хотя в действительности в этом столкновении частных интересов, разжигаемых честолюбием из-за должностей, принципы и национальные интересы, кажется, играют посредственную роль.

В этот самый момент Люсьен взрывает бомбу. Уехав в марте из Аяччо с Семонвилем, которого сопровождает в качестве секретаря-переводчика или делегата Народного общества, он по прибытии в Тулон мчится в клуб, выступает с громовым обличением против Паоли, составляет адрес Конвенту, который, принятый немедленно, тотчас отправленный Эскюдье, депутату от Вара, попадает в Париже в Собрание на следующий день после того, как было вынесено обвинение против Дюмуре (2 апреля). Итак, измена на юге одновременно с севером: Паоли с англичанами, Дюмуре с австрийцами! Нет нужды ни колебаться, ни обсуждать: Конвент декретирует, что Паоли и Поццо ди Борго будут доставлены к барьеру.

Люсьен торжествует и ликует: «Я нанес решительный удар нашим врагам, — пишет он братьям. — Вы этого не ожидали». Конечно, они этого не ожидали, ибо если он в безопасности в Тулоне, то они, находящиеся на Корсике, сильно рискуют: их неминуемо обвинят в соучастии с ним, в том, что они вместе с ним замыслили это покушение на Отца отечества: мать, сестры, жизнь, состояние — все в одной из тех неотвратимых опасностей, где спасение зависит

от случая. И тем же ударом рушатся все комбинации, придуманные либо для сохранения с Паоли видимости связи, либо для обеспечения до разрыва обладания приморскими пунктами, которые позднее послужили бы по крайней мере местами высадки и базами операций. Жозеф еще в Бастии, при Представителях, к которым присоединился тотчас по их высадке, но Наполеон, самый скомпрометированный из всех, самый опасный для своих врагов, находится в их руках. Он пытается выбраться из Аяччо, с великим трудом избегает расставленных ему ловушек, однажды ночью попадает в плен, бежит, возвращается в город, прячется там из дома в дом до тех пор, пока друзья не достают ему лодку, на которой он добирается до Бастии, где получает указания от комиссаров Конвента. Госпожа Бонапарт осталась, полагая, что своим присутствием сбережет имущество и что женщинам и детям не грозят неотложные опасности; но час за часом предостережения становятся все серьезнее. Нужно бежать: она оставляет двух своих младших детей, Нунциату и Жерома, своей матери, госпоже Феш, укрывается сначала в Миллели с Луи, Марианной и Полеттой; затем, перед приближением горских отрядов, направляется к берегу, надеясь, что ее подберет флотилия, которую Наполеон должен привести к Аяччо, чтобы высадить там французский гарнизон, прежде чем корсиканцы укрепятся там в силе. Тогда под защитой нескольких пастухов, оставшихся, несмотря ни на что, верными ее судьбе и, с ружьями на сгибе, внимательных, вынюхивающих следы, прочесывающих заросли, обозначающих свободный путь широкими молчаливыми жестами, — бегство через маки и скалы; затем, у башни Капителло, долгое ожидание французских кораблей, пока горцы громят в Аяччо дом Бонапартов, грабят и жгут совместное имущество, а ветер доносит их отдаленные крики, заставляющие плакать маленьких девочек. Она, госпожа Бонапарт, не плачет. Она знала, что такова ставка, и она умеет красиво проигрывать. Конечно, после двадцати четырех лет мирной жизни вновь очутиться в аванюре, видеть, как рушится здание, поддерживавшееся с таким тщанием, такими предосторожностями экономии, такими чудесами материнской предусмотрительности, — это тяжело; но о том, что касается политики, женщину не спрашивают: супруга, она подчиняется мнению мужа; мать — главы семьи. Фаталистка, корсиканская женщина стоична, а стоики хранят молчание.

Люсьен приписал своей матери в этот момент эффектные фразы и патриотические восклицания: это выдумки, имеющие целью обелить его самого, бросить тень на его поведение, дать понять, что вся семья его одобряла. Госпожа Бонапарт, выросшая, возмужавшая, составившаяся в культе Паоли, не могла столь быстро обратиться в революционные идеи, еще менее — одобрить, что один из ее сыновей сделался перед французами обличителем Баббо. Если уста госпожи Бонапарт в этот миг не обвинили этого сорванца, который в восемнадцать лет только что разорил ее семью и вверг ее в самую неотвратимую опасность, если она удержалась от проклятий ему, потому что он был любимцем, балованным ребенком, человеком гения, — то как бы ей не трепетать перед этим будущим, которое открывалось для нее и ее восьмерых детей? — Трое, самое большее, в возрасте, чтобы зарабатывать на жизнь; все остальное — на ее попечении; не спасено ничего, кроме одежды, что на себе; ни денег, ни даже ложек, составляющих семейное серебро, ни даже бумаг, переписок, документов. — Хорошо! а горизонт пуст!

Наконец, парус... шебека... Наполеон, который спешно грузит их, чтобы плыть в Джиролату, откуда они доберутся до Кальви, тогда как сам он останавливается, чтобы сделать последнюю попытку — внезапный налет на Аяччо с помощью городских патриотов: но никто не отвечает на условленные сигналы; поднимается ветер; флотилия вынуждена отойти от берега, оставив на ночь тоски высаженных там нескольких человек. С великим трудом все вновь садятся на суда, возвращаются в Бастию, откуда Наполеон верхом добирается до Кальви. Там по крайней мере, у превосходных Джубега, из которых один, Лоренцо, — крестный Наполеона, все собираются, можно совещаться: младшие присоединяются, Жозеф здесь, госпожа Бонапарт, трое детей, которых она привела с собой. Люсьена не упрекают. Свершившийся факт принимают. Если Люсьен поджег порох, рано или поздно дом должен был взлететь. Дух соли-

дарности покрывает его так прочно, что никогда — ни Наполеон, ни Жозеф, ни Луи — в писаниях, оставленных ими об этом событии, не сделали ни малейшего намека на роль, сыгранную Люсьеном. Что двое старших пообещали себе отчитать его и впредь держать в узде, можно поверить; но признать факт значило бы, с корсиканской точки зрения, признать бесчестье, и вот почему они искали и давали своему изгнанию объяснения столь путанные и противоречивые. Они не смотрят на прошлое: они смотрят в будущее. Что делать в Кальви? Как ни стараются девицы Бонапарт готовить сладкие блюда, нельзя оставаться здесь на иждивении друзей, и самих уже сильно пострадавших. Дела к тому же портятся окончательно: полторы тысячи человек гарнизона ежедневно имеют дело с шестью-семью тысячами корсиканцев, занимающих окрестности.

Уже были стычки, в которых французы имели перевес, но которые показали силу противников и сделали очевидной блокаду. Осада неминуема: нельзя подвергать ей женщину и пятерых детей. Во Франции будет капитанское жалованье, которое Наполеон может получать лишь находясь на своем посту; Жозеф будет добиваться подкреплений и сопровождать их; на худой конец, как жертва за правое дело, он получит какую-нибудь должность; изгнанникам дадут пособия; корсиканские депутаты похлопочут за них. Даже чтобы иметь шанс вернуться в Аяччо, нужно уехать. Решено — уезжают; и на одном из малых судов, отправленных из Кальви в Тулон за боеприпасами, мать и семеро детей поднимаются на борт: надежда на корме и надувает паруса.

Вот так в этой первой фазе своей жизни Наполеон воспринял и запечатлел дух семьи: каким он показал себя с Жозефом, с Луи, с Люсьеном, с Марианной, с Полеттой, таким мы его вновь увидим в другие периоды его существования. Уже теперь, можно сказать, пути начертаны; главные действующие лица появляются, кроме одного — Луи, которого возраст и болезнь глубоко изменяют, — с решающими чертами своих характеров. Жозеф — ленивый и важный, глава семьи, которому все причитается, потому что он дал себе труд родиться; Люсьен — беспокойный, честолюбивый, недисциплинируемый, ставящий все на карту по первому движению; Марианна — педантичная, своевольная, скрывающая свои замыслы, уже всецело захваченная своей связью с Люсьеном; Полетта, наконец, — радующаяся своей миловидности и прелести, кружащаяся в легком и гибком танце, надувая свои светлые платья вокруг этой суровой группы, отличающейся античной красотой, — подобная крылатым фигурам обожествленных танцовщиц, бегущих по выпуклости греческих ваз.

И Наполеон также показывает себя уже тогда таким, каким останется: братски — с оттенком почтительности и чуть ли не уважения к Жозефу; по-отцовски — с интонациями бесконечной нежности, но с волей воспитателя, к Луи; готовый все прощать Люсьену, которого ценит очень высоко, но с которым уже намечается соперничество; расположенный исполнить весь свой долг перед Марианной, не испытывая к ней истинной симпатии; хранящий свою снисходительную нежность, свою слабость старшего брата к этому существу изысканному, редкому, истинно женственному, которое умеет любить и которое стоит того, чтобы его любить, — к Полетте.

[1] Большинство документов, послуживших для этой главы, приведено полностью в моей книге: «Неизвестный Наполеон, заметки о юности Наполеона», Париж, Оллендорф, 1895, 2 тома in-8°.

II. — Изгнанники

13 ИЮНЯ 1793 — 13 ВАНДЕМЬЕРА IV ГОДА (3 ОКТЯБРЯ 1795)

Тулон в июне 1793 года. — Рассеяние семьи. — Жозеф в Париже. — Наполеон в Ницце и Бокере. — Госпожа Бонапарт вокруг Тулона. — Общая черта характера четырех братьев. — Наполеон в Тулоне, в Антибе. — Люсьен в Сен-Максимене. — Жозеф в Тулоне и Марселе. — Его женитьба. — Жозеф и Наполеон. — Наполеон под подозрением, в заключении: Морская экспедиция. — Западная армия. — Наполеон и Обри. — Наполеон в Париже. — Что он делает для Луи, Люсьена, Жозефа. — Проект отъезда в Турцию. — Наполеон и канцелярии. — 13 вандемьера.

13 июня 1793 года, хотя испанский и английский флоты, господствовавшие в Средиземном море, уже сильно затрудняли сообщение с Корсикой, семья Бонапартов высадилась в Тулоне, где нашла Люсьена: со времени своей знаменитой речи в клубе Сен-Жан он устроил там свой штаб. Город был охвачен полной анархией. Команды «Мельпомены» и «Минервы», взбунтовавшиеся против своих офицеров, только что потребовали смертного приговора своему командиру, господину де Бастеро. Клубисты Сен-Жана были хозяевами порта: отменяли декреты Конвента, приказы министров, останавливали погрузку пороха, предназначенного для Корсики, запрещали выход флота. Хлеб был нормирован и таксирован. На дверях каждого дома были вывешены имена жителей с указанием средств существования каждого. Около сотни именитых граждан были заключены в тюрьму без законных оснований. Каждый день ждали и боялись резни. На Корсике Бонапарты были якобинцами, но не на тулонский лад. В Аяччо обменивались ружейными выстрелами, но не гильотинировали друг друга. Самыми большими крайностями Паоли, фактического диктатора, были высылки на континент. Людей убивали в стычках или боях. Ни с той, ни с другой стороны никто не помышлял о юридических убийствах, прикрываясь аппаратом законов или декретов на случай. Поэтому, прибыв на континент, все Бонапарты, от Жозефа до самого младшего Жерома, испытали чувство ужаса и страха. Старшие, которым предстояло покинуть семью и оставить ее на произвол судьбы, рассудили, что для женщины и малолетних детей место в городе невыносимо и что в окрестностях, в деревне, жить будет безопаснее и дешевле: поэтому, проведя неделю в городе, они поселили госпожу Бонапарт с тремя дочерьми и тремя младшими сыновьями в деревне Лаваллет, у выезда из Тулона, по другую сторону горы Фарон, и, не дожидаясь даже, пока она там устроится, разлетелись на поиски средств.

Для Наполеона дело было простое: он не переставал числиться в своем полку (4-м артиллерийском); ему оставалось лишь присоединиться к той его части, что находилась в Ницце. Так или иначе, он получит назначение, будет получать жалованье, пайки, не говоря о том, что ему причиталась задолженность почти в 3 000 ливров, в тот момент чрезвычайно полезная. По счастью, генерал дю Тейль-младший, командовавший в Ницце, знал Наполеона, видел его в Осоне и Помье у своего брата, генерала барона дю Тейля, — и тотчас взял его к себе адъютантом, поручил ему устроить и снабдить береговые батареи; тем самым открыл ему прямую переписку с военным министром — чем Наполеон не преминул воспользоваться. Сверх удачи, он остался, таким образом, вблизи Корсики, смог забрать кое-какие остатки вещей, оставленных им в Корте, получить немного денег, переданных ему Браччини из Аяччо.

Жозеф, бросив все дела, уехал в Париж. В подобных обстоятельствах все достается первым пришедшим. Надо полагать, что он действовал с немалым усердием, ибо уже 11 июля Конвент по предложению Жан-Бона Сент-Андре, поддержанному Коллю д'Эрбуа, вотировал первое временное пособие в 600 000 ливров в пользу корсиканских патриотов-беженцев. Жозеф, несомненно, был среди просителей, удостоенных в этом случае чести присутствовать на заседании.

В ожидании возвращения Саличети с Корсики у Жозефа и его друзей было немало работы: противодействовать влиянию Константины, постоянного защитника Паоли и его официального представителя в Париже, и держать Комитет общественного спасения в готовности относительно подкреплений, которые следовало направить в Кальви, Бастию и Сен-Флоран; ибо у штатных корсиканских депутатов Конвента самих по себе было мало шансов быть выслушанными. На процессе короля все они, кроме Саличети, голосовали за самые мягкие наказания: заключение и заточение. Большинство из них 31 мая высказалось против Горы, и если они не были объявлены вне закона вместе с жирондистами, то некоторые, подписавшие протесты против государственного переворота, уже тогда были подозрительны. Саличети, напротив, цареубийца и монтаньяр, давал все гарантии господствующей группировке и по корсиканским делам имел наилучшие шансы добиться голосования в желаемом им смысле. И действительно, по возвращении (17 июля) он отрезал мост между паолистами и Францией: по его предложению Паоли был объявлен изменником Отечества и поставлен вне закона; члены Директории и Генерального совета департамента были отданы под суд вместе с комиссарами департамента в Аяччо и комендантом цитадели; сам же он, снова посланный с миссией в Итальянскую армию, получил поручение выделить из нее четыре тысячи человек, которые, погрузившись в Тулоне на дивизию из шести кораблей, должны были оказать помощь приморским городам, еще державшимся за Францию, и вновь овладеть островом.

Он уехал, взяв с собой Жозефа; ибо с Бонапартами он со времени Революции был в полнейшей близости, и до тех пор между ними не возникало разногласий, без сомнения потому, что он был из Бастии, а они из Аяччо, и если у него и у них были сходные честолюбия и аналогичные политические взгляды, никакой корсиканский интерес их еще не разделил. Но в пути они были остановлены восставшим Лионом, натолкнулись на повстанческую армию Буш-дю-Рона, наконец вошли в Марсель вслед за армией Карто, но лишь затем, чтобы узнать о сдаче Тулона. Отныне все проекты насчет Корсики откладывались: прежде всего нужно было отбить Тулон.

В тот самый момент, когда Жозеф вслед за Саличети прибывал в Марсель, Наполеон приближался туда же другой дорогой. Посланный генералом дю Тейлем за боеприпасами в Валанс, он оказался в Авиньоне в тот миг, когда маленькая конвентская армия под командованием Карто колебалась атаковать город. Он принял участие в деле, решившем разгром марсельцев; затем, не сопровождая аллоброгов в их легко триумфальном марше, продолжал в Тарасконе, Авиньоне, Бокере свою миссию по снабжению Итальянской армии. Вынужденный из-за лихорадки прервать поездку, он во время болезни сочинил и издал брошюру «Ужин в Бокере», где доказывал бессилие федералистского восстания. Брошюра эта была перепечатана за счет государственной казны по приказу Представителей в миссии при армии — то есть Саличети. Итак, он встретился — в Авиньоне или где-то еще — с Саличети, с которым через Жозефа поддерживал связь. Быть может, даже присоединился к нему в Марселе. Поэтому, когда Доммартен, командовавший артиллерией конвентской армии, был выведен из строя при прорыве ущелья Ольуль, обороняемого восставшими тулонцами, имя Наполеона тотчас пришло на ум Саличети. Он мог поручиться за его таланты — поскольку несколькими месяцами ранее назначил его генеральным инспектором артиллерии на Корсике; за его патриотизм, подтверждаемый недавней брошюрой, да и под рукой не было другого офицера этого рода войск. Представители издали постановление о его привлечении и приказали ему заменить Доммартена. Он прибыл под Тулон 12 сентября. Восемью днями ранее, 4-го, те же представители — то есть опять-таки Саличети — назначили Жозефа военным комиссаром первого класса, помощником гражданина Шове, комиссара-ординатора, — что давало ему годовое жалованье в шесть тысяч франков, плюс фураж, жилье и канцелярские расходы.

За эти три месяца, с 13 июня по 12 сентября, что случилось с госпожой Бонапарт и ее шестью детьми? Отзвук государственного переворота 31 мая в департаментах сказался лишь спустя

довольно долгое время: если уже 12 июня в Марселе общее собрание секций объявило себя в законном состоянии сопротивления угнетению; если уже 22 июня повстанческая армия Бушдю-Рона двинулась на Париж, то лишь 12 июля национальная гвардия Тулона восстала против клубистов, восстановила секции, учредила генеральный комитет и получила поддержку адмирала Трогоффа, главнокомандующего флотом.

Итак, у госпожи Бонапарт в Ла-Валлете был месяц относительного спокойствия. Люсьен, который еще до высадки семьи в Тулоне обратился в Конвент с докладной запиской, где, предвидя бедствия, угрожающие его родине, и невозможность для него туда вернуться, просил о документе, который мог бы служить ему паспортом для поездки в Константинополь к послу Семонвилю, — в это время возобновил свои ходатайства, чтобы Семонвилю было разрешено использовать его согласно его познаниям в обширных владениях Оттоманской империи. Луи читал «Поля и Виргинию» и писал Бернардену де Сен-Пьеру, спрашивая, какие обстоятельства этого произведения не были плодом его воображения. «Вы говорите, что в нем есть правда, — писал он, — что правда? что ложь? Вот моя цель. Вот что я задался целью узнать, чтобы в другой раз, перечитывая, я мог сказать себе, для облегчения моей опечаленной чувствительности: это правда, это ложь».

Положение становилось серьезным в Тулоне, где декрет Конвента от 11 июля о пособиях корсиканским беженцам не мог из-за восстания тулонцев получить никакого исполнения, где Люсьен, вследствие деятельного участия в заседаниях клуба Сен-Жан, оказался сильно скомпрометирован; госпожа Бонапарт перебралась из Ла-Валлета сначала в Доссе, затем, говорят, в Мьоннак, маленькую деревню на дороге в Бриньоль, и наконец, после поражения повстанческой армии, укрылась в Марселе, где реквизиция Представителей предоставила ей особняк эмигранта, господина де Сипьера. Те же представители дали Люсьену место смотрителя продовольственного склада в Сен-Максимене с жалованьем 1 200 франков и пайками.

Таким образом, трудный для семьи период длился, по-видимому, три месяца, в течение которых она могла жить лишь на то, что пересылал ей Наполеон. Теперь Бонапарты могли считать себя почти вне опасности, ибо трое старших сыновей были при должностях, а сама мать с остальными детьми должна была получать регулярные пособия, вотируемые беженцам.

Главная роль, которую сыграл во всем этом деле Саличети, в комментариях не нуждается; и точно так же незачем останавливаться на столь естественных и столь ясных побуждениях, которым повиновались Жозеф и Наполеон, примкнув к Конвенту; но в характере, который Жозеф, Наполеон, Люсьен и Луи развили в этот момент, есть общая черта, которую следует отметить: Наполеон напрямую переписывается с военным министром; Люсьен шлет в Конвент записку за запиской; Луи пишет Бернардену де Сен-Пьеру; Жозеф обращается к министрам и депутатам: и все это в одни и те же дни. Не так ли поступал отец, и не все ли они унаследовали это качество или этот недостаток, который у них еще усиливается, окрашивается по характерам и приобретает различное выражение в зависимости от способностей? У них есть дерзость; никакой робости, никакого почтения к людям. Они идут напролом: министры, интенданты, старшие письмоводители, Конвент — верховная власть, перед которой трепещет Франция, — прославленные писатели, знаменитые врачи, Паоли, Рейналь, Тиссо, Бернарден де Сен-Пьер, кто угодно, — к ним они обращаются с видом равенства, без смущения, почти без формул учтивости или почтения, и на языке, который им чужд и которым они не умеют владеть, они пишут письма. Ни на миг они не останавливаются перед теми сомнениями, которые традиции и воспитание навязывают цивилизованному человеку и которые его парализуют. Они действуют с первого порыва, не зная тех возвратов в себя, которые показывают ничтожество того, что ты есть, и заставляют находить гигантскими людей, чьи должности, заслуги или таланты освятили их имена. Они ничему не удивляются, считают себя равными всем и выше любой должности. Едва одолев ступень — даже когда это лишь видимость, — они видят следующую и стремятся к ней. Так, Наполеон, восстановленный, и с каким трудом, в офицерском звании, ставший

капитаном благодаря вакансиям от эмиграции, просит Монжа назначить его подполковником морской артиллерии. Так, Люсьен, лишь потому, что иногда служил на Корсике переводчиком у Семонвиля, притязает на то, чтобы тот его потребовал к себе, и хочет быть отправленным в Турцию, чтобы к нему присоединиться. Луи метит ниже — лишь в наперсники Бернардена де Сен-Пьера, но разве это не тот же дух? И не следует ли думать, что эта самоуверенность была одним из лучших средств их возвышения, когда у одного из них к ней присоединился гений?

Нынче, кажется, модно оспаривать долю, которую двадцатичетырехлетний Наполеон имел во взятии Тулона. Вот факты: он прибывает 12 сентября к крепости. 14-го Представители отправляют Комитету общественного спасения план взятия Тулона; но этот план, полностью противоположный тому, что был задуман ранее, есть план Наполеона. 12 сентября осадный парк состоит из двух 24-фунтовых пушек, двух 16-фунтовых и двух мортир. Однако средствами, которые он добывает отовсюду, пушками, которые он, кажется, тащит сам, боеприпасами, которые он перевозит в поте лица, к 19 сентября он устроил, вооружил, снабдил батарею у выхода из ущелья Ольуль; к 23-му — две батареи на высотах Брегайона; к 15 октября — пять батарей, идущих от пляжа Фабрегас и связывающихся с часовней Брегайон; к 16 ноября — еще три батареи, завершающие обложение крепости. В этот момент прибывает принять командование артиллерией генерал дю Тейль-младший. Сам Наполеон просил, чтобы Представители вызвали в армию бригадного генерала, который мог бы уже своим чином способствовать уважению и внушать почтение кучке невежд из штаба. Но к этому времени подготовительный период, безусловно самый трудный для командующего, уже пройден — и как же Наполеон ведет себя далее? — «Мне недостает выражений, чтобы описать тебе заслуги Бонапарта, — пишет дю Тейль военному министру. — Много знаний, столько же ума и слишком много храбрости — вот слабый набросок добродетелей этого редкого офицера; тебе, Министр, надлежит посвятить его служению Республике». Наполеон был назначен Представителями командиром батальона (временно) 20 сентября, утвержден 19 октября, произведен в генерал-адъютанты, начальники бригады 21 октября, утвержден 1 декабря (10 фримера II года); 22 декабря (1 нивоза) он возведен во временное звание бригадного генерала. Он ни на миг не колеблется принять это столь внезапное возвышение, взять на себя ответственность, которую оно влечет на каждой ступени; у него сразу появляется подобающий тон; он рожден Императором.

Он на это не смотрит и об этом не заботится, но для семьи, полностью избавленной от нужды его удачей, жалование будет иметь значение: как бригадный генерал, в силу декрета от 18 августа 1790 года, он получает двенадцать тысяч ливров, плюс две тысячи ливров при вступлении в кампанию; с 20 июля 1794 года (2 термидора II года) его жалование составит сорок один франк в день, то есть пятнадцать тысяч франков в год, и сверх того ему положены жилье и пайки. Впрочем, важнее самого жалования, вероятно, прибавки; жалование платят ассигнатами, а в октябре 1793 года луидор в двадцать четыре ливра стоит восемьдесят один ливр ассигнатами; но точны ли эти таблицы обесценения? не совсем ли иная пропорция, когда речь идет не о покупке луидоров, а об обмене ассигнатов на предметы первой необходимости, и, в ожидании закона о максимуме, в окрестностях армий, в городах, недавно отбитых силой, неужели спекулянты уже берут верх?

Итак, госпожа Бонапарт рассчитывает на жалование Наполеона и на его пайки: Наполеон приблизился к Марселю и даже устраивает там свою главную квартиру, получив 26 декабря (5 нивоза II года) приказ инспектировать побережье от устьев Роны до устьев Вара. Он разъезжает между Тулоном, где Жозеф, перешедший в морское интендантство, занимается снабжением ввиду экспедиции на Корсику, и Марселем, где находятся его мать и сестры. Он убедил госпожу Бонапарт отправить Луи в Шалон-на-Марне для сдачи экзамена на артиллерийского кандидата. Но, хотя у Луи был в руках паспорт от Представителей народа, он, утраченный тем, что видел в Лионе, дал себя убедить в Шалоне-на-Соне, что Артиллерийская школа распущена, и без дальнейших справок вернулся в Марсель. Когда Наполеон, утвержденный 7 января

1794 года (18 нивоза II года) в звании бригадного генерала и облеченный одновременно главным командованием артиллерией Итальянской армии и вооружением побережья, устраивается в Ницце для подготовительных операций пьемонтской кампании, он берет сначала Луи как адъютанта при своем штабе, дает ему пройти боевое крещение при взятии Онельи и в бою у Каиро; затем, чтобы создать ему некоторые права на чин в армии, он назначает его подпоручиком в роту оседлых канониров, стоящую гарнизоном в Геракле (Сен-Тропез) и подчиненную непосредственно его командованию. Уже весной, призванный своими операциями в сторону Антиба, он тотчас вызывает туда мать и двух сестер и устраивает их в замке Салле — одной из тех залитых солнцем бастид, которые в ином месте были бы буржуазными домами, но здесь от пейзажа, растительности и света приобретают живописный вид и видимость. Жилье, без сомнения, по реквизиции.

Живут скромно, даже довольно бедно в этом замке: госпожа Бонапарт сохранила там свои привычки заботливой хозяйки, и старожилы Антиба вспоминали, что видели, как она стирала свое белье в Риу, протекавшем внизу. Это пребывание оставило, однако, в воспоминаниях девиц Бонапарт след столь живой, что четырнадцать лет спустя одна из них, на вершине своего счастья, захотела приехать сюда за впечатлениями детства и воспоминаниями о днях, которые она называла счастливейшими в своей жизни. Как! Это было время, когда, опустошая сад господина Балиста от молодых артишоков и спелых фиг, Полетта в ужасе удирала от грозного хозяина, гнавшегося за ней с колом, изрыгая все ругательства, какими так богат провансальский язык. — И вкуса этих ворованных артишоков и фиг Ее Императорское Высочество принцесса Полина не забыла.

Когда летом Наполеону пришлось вернуться в Ниццу, семья сопровождала его туда, и лишь осенью 94-го года она возвратилась в Марсель.

Люсьен, что бы он ни говорил, ни в какой момент не мог быть причастен к этой домашней жизни. Ремесло смотрителя продовольственного склада не могло удовлетворить его деятельности, и хотя Сен-Максимен, городок с тремя тысячами жителей, был посредственной сценой для такого человека, как он, он не погнушался поднять жителей до нужной высоты. Благодаря ему и Баррасу Сен-Максимен стал Марафоном; сам он именовался уже не Люсьеном, а Брутом. В Народном обществе, где он был единственным оратором, он царил под титулом председателя и совмещал с этой совещательной властью власть исполнительную как председатель Революционного комитета. Он ею пользовался: более двадцати жителей города, из самых почтенных и уважаемых, сидели по его приказу в тюрьме как подозрительные. «Люди, к которым я постыдился бы приблизиться, — писал он позднее, — каторжники, воры стали моими товарищами». Тем не менее он оставался идиличен, как и подобало провинциальному подражателю добродетельного Максимилиана; только в Марафоне, несмотря на Народное общество и Революционный комитет, еще уступали предрассудкам, от которых в Париже избавились Дюпле и целомудренная Элеонора. Брут-Люсьен ухаживал за сестрой трактирщика, у которого жил. Она была на два года старше его, не получила никакого образования, не умела даже подписать свое имя. Прекрасный пример равенства! Быть может, его несколько вынудили. — Как бы то ни было, 4 мая 1794 года (15 флореала II года), перед Жаном-Батистом Гарнье, членом Генерального совета коммуны Марафон, бывшего Сен-Максимена, Брут Буонапарте, так он был назван, вступил в брак с Катрин, дочерью покойного Пьера-Андре Буайе и Розали Фабр. Ему было девятнадцать лет и два месяца.

Никто из членов его семьи не явился на этот брак, для которого он поостерегся испрашивать согласие матери и акт которого был отягощен самыми вопиющими беззакониями. Можно было бы поэтому подумать, что такой союз будет недолговечен; но эта маленькая женщина, тонкая и гибкая, с черными волосами, узким лбом, столь нежно-кроткими глазами, обладала, кроме необычного ума, смирением, способностью любить и жертвовать собой, которые привязали Люсьена так, что он никогда не допускал даже мысли о разрыве. Весьма увлекающийся

в иных отношениях, весьма способный менять мнения, весьма подвижный во всем, что касалось его надежд на богатство, склонный к тем ораторским восторгам, где слово увлекает мысль и производит неисчислимые и непредусмотренные беды, готовый затем к тем упадкам духа, когда отрекаешься от себя и поешь отречение, — Люсьен, как только встречал в том, что касалось лично его, противоречие со стороны своих, вставал на дыбы, и никто не мог надеяться заставить его отступить. Убежденный в своей независимости в делах чувства, уверенный, что подчиняется лишь собственному удовольствию, он в глубине души имел понятие о семье, совершенно отличное от того, которое указывали его поступки. По мере того как женщина, выбранная им, быть может, по капризу и без размышления об узах, которые он завязывал, дарила ему детей, она становилась ему дорога, почтенна и священна. Он не допускал, чтобы ему приходилось выслушивать малейший совет от матери или братьев, чтобы он был хоть чем-то обязан им, но считал себя обязанным перед Женщиной, которая делала его отцом, и перед своими потомками. С него самого начинался его род, род принадлежал лишь ему, и кажется, что от этого чувства собственности его любовь к ней возрастала. Эта черта характера, заметная уже теперь, окажет впоследствии чрезвычайное влияние на жизнь Люсьена.

Этот брак с девицей Буайе должен был довершить в глазах семьи опалу Люсьена, которому, несмотря ни на что, еще не совсем простили его тулонскую выходку. Вдобавок место смотрителя склада ускользнуло от него: склад в Сен-Максимене был упразднен, и он остался без жалованья. Наконец, на него донесли как на человека призывного возраста, уклонившегося от закона о наборе. Чтобы избежать солдатчины и вновь найти место, он обратил взор на национальное агентство дистрикта, занятое неким Бернесом, бывшим нотариусом из Риана. Он обвинил его перед Революционным комитетом, сумел добиться от представителя отстранения его от должности; но в тот момент, когда он рассчитывал быть назначенным на его место, разразилась термидорианская реакция: ему пришлось спешно покинуть Сен-Максимен, и он почел за счастье найти в Сен-Шамане, близ Сета, место инспектора обозов на жалованье у подрядчика Итальянской армии. Его жена, оставшаяся в Сен-Максимене, родила там в его отсутствие 22 февраля 1795 года (4 вантоза III года) дочь, записанную в гражданском состоянии под именами Кристина-Шарлотта.

Совершенно иным и гораздо более счастливым был путь, избранный Жозефом. Предназначенный принять участие в экспедиции на Корсику, которая, по крайней мере политически, находилась под началом Саличети, он провел в Тулоне и окрестностях зиму и весну 1794 года, следя за прибытием и размещением снаряжения, и в начале июня (перриаль II года) сел на эскадру под командованием контр-адмирала Мартена, состоявшую из семи линейных кораблей, четырех фрегатов и четырех легких судов. Если ему верить, он был принят на борту флагманского корабля «Санкюлот», и адмирал Мартен, который под несколько грубой корой республиканского моряка скрывал добрейшую душу, какую он когда-либо знал, дошел в своей доброте до того, что уступил ему свою койку. Французская эскадра встретила на подходах к Корсике английскую эскадру из четырнадцати линейных кораблей и четырех фрегатов. Сражаться было нельзя. Мартен, захвативший у англичан в этом коротком крейсерстве фрегат и бриг, укрылся в заливе Жуан, где, построив и вооружив береговые батареи, сделал свою позицию столь грозной, что английский флот, усиленный семнадцатью испанскими кораблями, не посмел его атаковать. Мартен удерживал море в течение недели, и, как только эскадра вошла в залив Жуан, Жозеф сошел на берег.

Были ли у него уже тогда брачные планы? Маловероятно, но не невозможно. Со времени прибытия матери и сестер в Марсель он находился в отношениях с одной купеческой семьей родом из Дофине, глава которой, Франсуа Клари, нажил торговлей тканями хорошее состояние и занимал в Марселе должности эшевена (1764), депутата от торговли и церковного старосты своего прихода Сен-Ферреоль. Франсуа Клари был женат вторым браком на Франсуазе-Розе Сомис, чей отец, кавалер ордена Святого Людовика, капитан Пикардийского полка,

был главным инженером в Марселе. От двух браков у него было тринадцать детей, из которых семеро были еще живы: две дочери от первого брака, удачно выданные за двух братьев Лежан, один из которых был депутатом Учредительного собрания; дочь от второго брака, еще удачнее — за некоего господина Антуана, именовавшего себя Антуаном де Сен-Жозефом, крупного негодьянта, оказавшего в Леванте услуги столь значительные, что в 1786 году Людовик XVI пожаловал ему дворянскую грамоту; другая — за господина Бле де Вильнёва, кавалера ордена Святого Людовика и капитана инженерных войск. Эти Клари были одной из тех буржуазных семей, которые, начав с обработки земли и торговли, к 1789 году, после века и четырех поколений тружеников и скопидомов, достигали положения, позволявшего идти наравне с мелким городским дворянством, с которым они вступали в союзы и которое они вновь ставили в положение, избавлявшее от необходимости трудиться: ничегонеделание было свойственно людям благородного происхождения.

Как завязалась связь между Бонапартами и госпожой Клари? Говорили о квартирном билете, выданном Наполеону при вступлении в Марсель солдат Конвента; но в тот момент весьма сомнительно, чтобы Наполеон туда приезжал. Говорили, будто Марианна и Паолетта были взяты в дом Клари гувернантками или компаньонками; но, помимо того что они казались мало пригодными для этих занятий, они уже с весны были с матерью в Антибе. Утверждали еще, будто Наполеон в нивозе II года (феврале 1794 года) познакомился с Лежаном, который представил его Клари. Все это темно: какой-то случай свел их, и Клари поспешили воспользоваться знакомством, обеспечивавшим им покровителей.

Это могло считаться безотлагательным, если вспомнить, что в Марселе только с 28 августа 1793 года по 29 нивоза II года (18 января 1794 года) первый Революционный трибунал приговорил к смерти сто шестьдесят два человека; что с 1 плювиоза (20 января) по 8 вантоза (26 февраля) Военная комиссия приговорила к смерти сто двадцать три; что с 25 вантоза (15 марта) по 11 флореаля (25 апреля) второй Революционный трибунал приговорил к смерти сто двадцать четыре; что из этих четырехсот девяти гильотинированных большинство были негодьянты, друзья или родственники Клари; что с оправданных подсудимых три трибунала взыскали штрафы до восьмидесяти тысяч ливров; что тюрьмы были переполнены подозрительными и что аресты под малейшим предлогом продолжались.

Франсуа Клари был вне досягаемости, поскольку скончался в своем доме на улице Фокейцев 20 января 1791 года (1 плювиоза II года). Но было чего опасаться за госпожу Клари, чей брат, инженерный офицер, принял деятельное участие в федералистском восстании и эмигрировал; за сыновей Клари, один из которых, консул Неаполя в Марселе, оказался вследствие этого более чем подозрителен, учитывая поведение неаполитанцев в Тулоне; за дочерей, чьи мужья были дворянами и эмигрантами и одна из которых, по крайней мере госпожа Бле де Вильнёв, только что искала удостоверение гражданской благонадежности в фиктивном разводе (14 флореаля II года — 3 мая 1794 года). Достаточно одного факта, чтобы показать состояние ужаса, в котором они жили: 21-го числа второго месяца II года (11 ноября 1793 года) один из сыновей Клари (Жюстиньен-Франсуа), обезумев от страха быть отданным под Революционный трибунал, покончил с собой. Впрочем, вообразите этот город, обезлюдивший из-за бегства самых богатых граждан — ибо благодаря морю те, кто считал себя скомпрометированным, могли эмигрировать, — город, где на тех, кто чувствовал себя достаточно невинным, чтобы остаться, обрушились эти четыреста девять смертных приговоров, не считая приговоров к кандалам, заточению, депортации, стеснению, тюрьме. Быть может, в такие времена находятся молодые люди, думающие о любви и браке; кажется, однако, что думают скорее о спасении своей жизни и жизни тех, кого любишь.

Жозеф был другом, alter ego представителя Саличети; он был братом генерала Бонапарта, друга представителей Рикора и Робеспьера-младшего; он занимал должность, делавшую его способным покровительствовать тем, кто с ним породнится. Он дал тому доказательство,

поскольку по его вмешательству Этьен Клари, арестованный по приказу Революционного трибунала, был освобожден.

В то же время он не был запятнан никаким преступлением и не принадлежал к тем, над кем витали кровавые тени. Он был как бы вне и в стороне в силу того, что был корсиканским беженцем, вынужденным покинуть родину из-за иных распрей. Он приносил защиту и не имел ничего общего с палачами.

Он был благородного происхождения; он был дворянином, выражался хорошим слогом, в его языке и воспитании не было никакого санкюлотства, и образование его было превосходным. К тому же он был красивый малый: двадцать шесть лет, высокий, стройный, черты правильные и внушительные: конечно, меньше энергии и характера в лице, чем у Наполеона, — лицо в тот момент более полное, глаза менее пронизательные, нос, рот менее волевые, но в целом красота, которая могла сильнее пленить молодую девушку.

А эта молодая девушка, Мари-Жюли, которая, впрочем, засиживалась, ибо ей исполнилось двадцать два года 26 декабря 1793 года, была откровенно некрасива. Маленькая, дурно сложенная, с некрасивой талией, болезненная с виду; на совсем коротком лице — большие выпуклые глаза, толстый курносый нос, рот без рисунка; облик бедный и жалкий, который делал сносным лишь вид усталой кротости; никакого изящества, никакой осанки, ничего, что говорило бы чувствам, волновало воображение, действовало на ум. У нее были, однако, качества и добродетели исключительные, но все внутренние, все намеренно скрытые, словно стертые. Она до редкой степени была нежна к своей собственной семье — братьям, сестрам, дядям, кузенам, кузинам. Она была набожна, честна, чрезвычайно милосердна, глубоко привержена своим обязанностям, способна привязаться к семье мужа, даже слиться с нею, при условии, однако, чтобы не было столкновения между интересами Бонапартов и интересами Клари или их союзников, ибо в таком случае ее выбор был бы сделан очень быстро. У нее был ум, и ум самый тонкий, ум, язвящий без смеха, но она старалась показывать его лишь самым близким, оставаясь молчаливой перед незнакомыми и замыкаясь в себе.

Такой какова она была, — одновременно из-за своих физических недостатков и нравственных качеств — она была для свекрови идеальной невесткой, для девиц Бонапарт — невесткой, о какой мечтают. Сверх того, у нее было то главное достоинство, что она была богата, и богатством приобретенным, верным, устроенным, богатством, реализованным смертью господина Клари, так что надежда на него не могла быть ни сомнительной, ни отдаленной.

Каково было это богатство? Трудно сказать точно, ибо, чтобы не компрометировать себя и не платить больших пошлин, в договорах не называют цифр. Будущая жена приносит свои права на неразделенное наследство отца. Но ее старшие сестры получили каждая при замужестве приданое в 50 000 ливров. Из этого состояния можно будет через год выделить 80 000 ливров звонкой монетой для покупки земли. За границей было множество долговых требований, которые должны были принести хорошие суммы. Цифра в 150 000 ливров кажется правдоподобной. А при обесценении ассигнатов, при ценах на родовые и национальные имущества, при умалении общего состояния вследствие последовательных государственных банкротств такой капитал в 1794 году представлял по меньшей мере в десять раз больше того, что он позволил бы приобрести нынче.

Гражданский брак был заключен не в Марселе, где предварительные акты были оглашены 9 и 10 термидора; он был заключен 14-го (1 августа 1794 года) в Кюже, маленькой общине в шести лье, где у Клари было, говорят, какое-то загородное имение, перед мэром Жозефом-Жаном Монфре. Свидетелями были местные жители: два муниципальных чиновника, парикмахер — ни одного родственника. Мать невесты присутствовала. Госпожа Бонапарт прислала из Ниццы свое согласие.

Несколько дней спустя брачное благословение было, как уверяют, дано молодым супругам в Сен-Жан-дю-Дезер, в маленьком загородном доме в предместье Марсея, неprisягнув-

шим священником, аббатом Реймоне. Добавляют, что Наполеон при этом присутствовал, что невозможно, ибо он был в то время в лагере при Зиге; но если эта подробность, по-видимому, выдумана, факт церковного брака остается. Жозеф, который, впрочем, никогда не выказывал враждебности к католической религии, не отступил, чтобы угодить девице Клари, перед поступком, который, стань он известен, стоил бы ему влияния, должности и головы.

В самом деле, к этой дате 11 термидора, когда был заключен брак, весь Юг еще не знал о событиях, происшедших в Париже четырьмя днями ранее; к тому же с падением Робеспьера система Террора рухнула не сразу. Был ли Робеспьер даже главным ее творцом? Не несли ли за нее более прямой ответственности Представители, которые, добиваясь миссий, установили свою диктатуру в провинциях? И не вправе ли мы думать, что переворот против Робеспьера был организован ими, чтобы уклониться от отчетов, а вовсе не для того, чтобы открыть эру милосердия?

Для Жозефа союз с девицей Клари означал обеспеченную независимость: приданое, которое она приносила, было в его руках, где бы ему ни угодно было жить — на Корсике или во Франции, — верным орудием политического успеха, если он продолжит это поприще, или основой крупного коммерческого состояния, если он обратится к промышленности. Породнившись с семьями, занимавшими первое место среди левантийских негоциантов, он мог — гораздо лучше Люсьена — помышлять об использовании обширных владений Оттоманской империи. А на Корсике — какая сила! У кого на Корсике было 150 000 ливров, и как такие деньги возродили бы партию!

Несмотря на блеск, который придавало Наполеону его звание, несмотря на репутацию, уже связанную с его именем, несмотря на услуги всякого рода, оказанные им своим близким, Жозеф никогда не переставал быть первым из братьев, преемником отца, главой семьи. Он был им по рождению и никогда не отказывался от своих прав и даже не позволял их оспаривать. Он был им по согласию всех своих, начиная с Наполеона. «Жозеф, которого называли или который сам себя называл графом, ласкал своего второго брата; но этот явно выказывал первому то почтение, которым среди знати всегда пользовались главы семей. Это пишет наблюдатель незаурядный после того, как видел обоих братьев вместе во Фрежюсе». Без сомнения, Луи и Полетта выказывали Наполеону предпочтение, привязались особенно к нему, подчинялись его влиянию, принимали его указания; но решал в последней инстанции, даже в том, что касалось их, все же Жозеф. Что до Люсьена и Марианны, они не допускали от другого ни мнений, ни даже советов.

Наконец, он был главой по гражданским должностям, которые занимал, по магистратурам, как он говорил, по тому, что состоял в Муниципалитете, Дистрикте, Департаменте. Дух местничества, столь сильный у всех корсиканцев, до огромных размеров увеличивал это в глазах Бонапартов, создавал вокруг Жозефа уважение и восхищение. К престижу главы семьи он присоединял престиж, всемогущий в корсиканском воображении, — престиж того, кто был властью. А теперь у него появилось большое богатство, богатство бунтовщиков!

Наполеон, правда, генерал. Но сколько генералов на Корсике, где генералом становился кто хотел, и во Франции — кто нынче не генерал? Кто уверен, что останется им, побывав им? В этих бурях гражданских войн сколько людей за месяц, порой за день, возносятся из самого низкого чина на самый высокий — бригадные генералы, дивизионные генералы, главнокомандующие — и идут ко дну при первом шквале, чья голова катится при первой неудаче, или которые, отставленные по капризу, как были возвышены по фантазии, падают в ничтожество еще быстрее, чем из него вышли? Когда необходимость уже не понуждает, кто помнит, что она повелевала? Забвение услуг приходит быстро, и если еще можно питать некоторое доверие к общественной признательности одного человека или нескольких людей, то как ждать благодарности от безответственного коллектива, от безымянных канцелярий, от той невидимой, глухой, немой и слепой машины, что зовется администрацией? Всякий, кто видел эти импро-

визированные войны, когда для масс людей, приводимых в движение, нужно тотчас учреждать начальников, знает, с какой расточительностью раздаются чины. Тем более в эпохи гражданских войн: даже если не произойдет политической перемены, внезапно превращающей победителей в изгнанников, сводящей на нет самые подлинные патенты и делающей каждый полученный чин еще более тяжким пунктом обвинения, — разве неизбежная усадка сил, поднятых для национальной обороны, какой-либо возврат к мирному состоянию не имеют своим обязательным следствием пересмотр чинов, если не их отмену?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.